# Борис Раевский. РАССКАЗЫ

## 15 УТРОМ — 15 ВЕЧЕРОМ

На письменном столе стоит бронзовая фигурка штангиста; мускулы его груди, рук, плеч предельно напряжены, — вероятно, он выжимает рекордный вес.

Рядом на столе лежит штанга — да, да, металлическая штанга. Только маленькая. Но совсем как настоящая. И даже «блины» на нее навешаны. А на полу возле стола чернеет двухпудовая гиря; это уже настоящая. И гантели.

На верхней доске книжного стеллажа выстроились в ряд кубки и статуэтки. Сплошь штангисты. Вот один — чугунный, — присев, левой рукой рвет штангу. Лицо его искажено: да, нелегко. Другой — высеченный из камня — стоит перед штангой молчаливый, сосредоточенный. Сейчас он попробует взять вес. В эти последние секунды перед решающим рывком он собирает воедино все свои силы, всю волю…

…Передо мной сидит сам хозяин квартиры — Юлий Петрович Старое, штангист, бывший чемпион Европы в полусреднем весе, уже немолодой, молчаливый, спокойный. Он в пижаме, выделяется его шея — короткая, толстая, монолитная, как столб. И на ней прочно посажена голова, тоже массивная, с круто нависающим лбом.

— Что же вас интересует? — спрашивает Юлий Петрович.

Я объясняю: мне поручено написать очерк к пятидесятилетию Старова, рассказать читателям о его спортивном пути.

Юлий Петрович улыбается:

— Это долго…

Он задумывается. Видимо, не знает, с чего начать. Как и всякий журналист, я не раз вел подобные беседы. Спешу на помощь:

— Как вы начали заниматься спортом?

Юлий Петрович долго думает, глаза его смотрят в пол, на лице появляется странное, отсутствующее выражение, и я догадываюсь: Юлий Петрович сейчас, как сказал один поэт, блуждает по тропинкам своего далекого детства.

Он отвечает загадочно:

— Пожалуй, всему причиной — Яшка Кривоносый…

Заовражная улица, петляя, взбиралась на гору, почти к самым стенам монастыря. Хотя прошло уже шесть лет после революции, монастырь еще жил: по-прежнему копались на огородах молчаливые монахи, по-прежнему мелькали их черные одежды на базаре и на мельнице. Здесь, возле монастыря, на окраине маленького городка рос Юлька Старов, по прозвищу Юла.

В их домишке вечно стоял кислый, тяжелый дух: это пахла шерсть, — отец катал валенки. Пахли и шкуры, которые отец дубил: одним валянием не прокормиться. И от Юлькиной одежды тоже всегда пахло. «Псиной», — смеялись мальчишки.

Лицо у отца было тоже какое-то мятое, унылое, словно прокисшее. И нос длинный, унылый. Всю жизнь его преследовали несчастья: то пожар, то старший сын утонул, то самого так скрутила лихоманка, чуть не умер.

В школу Юльке ходить далеко: по всей Заовражной, мимо «Парикмахерского заведения братьев Жан» (все знали, что хозяин и единственный парикмахер там — Поликарп Семенович), мимо булочной Архипова, мимо пожарной каланчи, мимо клуба «Пролетарий», все вниз и вниз, до самой реки, перейти через мост, а там уж и школа.

Каждый день совершал Юла этот маршрут. И редко когда обходилось без стычки с воронихинскими. Так называли ребят из Воронихиной слободы, раскинувшейся возле моста. Верховодил ими толстый, нескладный парень — Яшка Кривоносый. В детстве он упал с печи и свернул себе нос. Так и остался нос на всю жизнь: расплющенный и повернутый влево. Из-за этого даже казалось, что Яшка косит, всегда смотрит влево. Кроме носа, на Яшкином маленьком, с кулак, личике выделялись длинные, редкие зубы.

Издавна воронихикские мальчишки враждовали с заовражными.

Воронихинцы занимали очень выгодную позицию у моста. Заовражные вынуждены были ежедневно переходить через реку: и в школу, и на базар, и в кинематограф. Вот тут-то у моста их и встречали…

Юльке влетало особенно часто.

Был он невысокий, узкоплечий, болезненный. Кожа на щеках тонкая-тонкая, словно прозрачная. Молчаливый, замкнутый, он не имел товарищей. Заовражные обычно ходили через мост группами, в любой момент готовые дать отпор воронихинцам. А Юла шагал один…

Отец чуть не каждый день посылал его: то принеси шерсть или шкурки от заказчика, то отнеси готовые катанки, то купи соды, или клея, или шкалик. И редкая из таких вылазок обходилась без синяков.

Однажды Юла нес часовщику Кронфельду валенки, завернутые в холстину. У моста его встретил Яшка Кривоносый со своей ватагой.

— А, Юлий! Цезарь! — воскликнул Яшка, как всегда сося леденец, и длинным грязным пальцем ткнул Юльке в щеку.

Юла оглянулся. Не убежишь. Яшкины приятели уже замкнули кольцо. Они стояли вразвалку, небрежно сунув руки в карманы, и ухмылялись.

— Ну, Цезарь, давай закусим, — сказал Яшка. Наклонился, сгреб горсть земли: — Ешь!

Юла глядел хмуро, исподлобья. Под мышкой он крепко зажал валенки. Только бы их не порвали, не запачкали. Отец тогда так изволтузит… Но у воронихинцев имелись свои понятия о благородстве. И главный закон: взрослых не впутывать. А валенки — это «взрослое».

— Ешь, Древний Рим! — Яшка поднес землю к самому лицу Юлы, мазанул по губам.

Юла дернулся, отвернул лицо.

— Лопай, а то силком заставим!

Яшка подмигнул своим, двое ребят вывернули Юле руки, а Кривоносый, ухмыляясь, изловчился и прижал горсть земли к его плотно стиснутому рту. Юла дергался, отбивался, выронив валенки. В конце концов, не выдержав, он заплакал.

— Будет, — негромко пробормотал кто-то из воронихинцев.

— Пускай катится…

Но Яшка по-прежнему настойчиво совал Юльке землю в рот. Она была сухая, противно скрипела на зубах. Юла давился, выталкивал языком маленькие хрустящие комки. И только неожиданно появившийся на улице милиционер спас его…

Через несколько дней Юла опять нарвался на Яшкину компанию.

— Эге! — сказал Яшка. — Непорядок! Цезарь-то был рыжим. А Юла — черный! Сейчас исправим…

Он крепко держал Юлу, пока один из мальчишек сбегал домой, принес ведерко и кисть.

— Крестится раб божий Юлиан, — густым дьяконовским басом пел Яшка и суриком мазал Юле волосы. Под дружный хохот мальчишек он жирно ляпал краску на голову Юле, волосы у того слиплись и поднялись, как колючки у ежа. Огненно-яркой краской были вымазаны и лоб, и уши…

Юла с ненавистью глядел на мучителя. Если б мог, он убил, изувечил его, отомстил бы за все обиды. Но как? Яшка был на голову выше его и, конечно, гораздо сильнее.

Весь испачканный краской, зареванный, охрипший, вырвался Юла из рук воронихинцев и бросился к реке. Убежал далеко вниз по течению на пустынную отмель, густо заросшую лозняком, долго, яростно тер голову песком и илом, остервенело скреб ногтями. Но ничего не помогало. Сурик въелся намертво. В реке, как в зеркале, Юла видел свое лицо, окруженное ярким нимбом, как у святого на бабушкиной иконе.

Идти домой днем по городу в таком виде было невозможно. И Юла до темноты отсиживался в кустах.

«Раздобуду пистолет, — с мрачной решимостью думал он. — Подстерегу Кривоносого. Жизнь или смерть?! При всех будет ползать на коленях, виниться…»

Юла мысленно уже видел, как Яшка ползает в пыли, умоляет простить его, твердит, что он не знал, какой Юла хороший и справедливый.

«Или подговорю Семку-мельника», — продолжал мечтать Юла.

Семка был известный всему городу здоровяк, со спиной, широкой, как шкаф. Он шутя таскал пятипудовые мешки.

«Дам Семке три рубля, пусть проучит…»

Только ночью задами пробрался Юла домой. Под причитания матери долго отмывал волосы горячей водой с керосином и щелоком. Но и назавтра еще нет-нет да мелькала в них огненная прядка.

…Вскоре в город приехал цирк шапито. На базарной площади за одну ночь вырос огромный балаган; деревянный, с брезентовой крышей, с несколькими рядами скамеек и висящими на красивых бронзовых цепочках яркими керосиновыми лампами.

У входа два клоуна награждали друг друга удивительно звонкими оплеухами, кривляясь, пели смешные куплеты, зазывая зрителей.

Юла, как и многие ребята, потерял покой. Каждый вечер крутился он возле цирка, стремясь проникнуть в манящий балаган. Иногда это удавалось.

В цирке все было интересно: и персидский фокусник, показывающий отрубленную говорящую голову, и заклинатель змей, и воздушные гимнастки.

Но для Юлы, как и для большинства мальчишек, все это бледнело перед коронным номером программы. На арену выходил важный дядька в черном, похожий на заграничного лорда, и громко объявлял:

— Всемирно знаменитая силач Али Махмуд-хан!

Под гром аплодисментов на ковер вступал в борцовском трико и туфлях сам Али Махмуд-хан, огромный, красивый, с лихо загнутыми черными усами. Он раскланивался, на арену выводили лошадь, и Али Махмуд поднимал ее. Поднимал так просто, будто лошадь игрушечная. Потом так же легко проносил по арене шест, на каждом конце которого висело по трое мужчин.

А потом опять выходил важный дядька в цилиндре и, делая большие паузы после каждого слова, торжественно провозглашал:

— Всемирно… знаменитая… силач… Али Махмуд-хан… вызывал… на борьба… любого… из публикуй. Победитель… получай… приз… двести рублей.

Цирк гудел, зрители начинали ерзать на скамейках, шептаться. И всегда находился кто-нибудь, желающий помериться силами со всемирно знаменитым турком.

В первый день такими оказались ломовой извозчик Кирилл и дворник Харитон. Турок разделался с ними с обидной легкостью. Припечатав к ковру Харитона, он даже похлопал его по животу: мол, не горюй.

На следующий вечер заработать двести рублей решил верзила Семка-мельник. Все мальчишки болели за него. Как-никак, Семка — первый городской силач.

Но Али-Махмуд, схватив шестипудового Семку за пояс, легко, словно мячик, перебросил через себя и тут же, изловчась, прижал обеими лопатками к ковру.

Зрители и ахнуть не успели, как прозвучал свисток судьи — и смущенный Семка, озадаченно почесывая затылок, вернулся на свое место.

Маленький, тщедушный Юла восторженно следил за каждым движением Али Махмуда.

«Быть бы мне таким силачом! — замирая от счастья, мечтал Юла. — Даже не таким, хоть наполовину, хоть на четверть…»

Сколько чудесного смог бы он тогда сделать! И главное, самое первое — задал бы тогда лору Яшке!

Кривоносый сидел тут же, вместе со своим отцом, владельцем кондитерской, — важным, грузным, краснощеким. По груди и животу у отца к кармашку с часами змеилась толстая золотая цепь с брелоками. Яшка был в черном пиджаке из «чертовой кожи», с гладко прилизанными волосами и чинным выражением на лице. Совсем паинька. Оба они, отец и сын, дружно сосали леденцы.

Прошло несколько дней. Цирк уже собирался уезжать из города.

Рано утром Юла, захватив удочки, пошел на реку. Еще только рассветало, над водой клубился туман. Было прохладно, и Юлу в его легком пиджачке знобило.

Прыгая с камня на камень, чтобы согреться, он быстро спускался к воде. И вдруг у самой реки увидел огромную знакомую фигуру с удочкой.

Сердце у Юлы забилось часто-часто. Неужто?.. Он враз остановился, но так неловко, что камень, выскользнув из-под ног, прогромыхал в реку.

Рыбак досадливо обернулся. Красивое полное лицо, лихо загнутые усы… Конечно, это Али Махмуд! Он ничего не сказал и снова уставился на поплавок.

Юла стоял не шевелясь. Вот он — счастливый случай! Можно познакомиться с самим Али Махмудом. Только не робеть! О чем бы с ним заговорить?

Знаменитый турок сидел у моста и сосредоточенно разглядывал неподвижный, будто впаянный в реку поплавок. Юла расхрабрился.

— Здесь клевать плохо, совсем плохо, пфуй, — нарочно коверкая слова, чтобы было понятнее чужеземцу, сказал он. — Айдате, покажу место. Карош место! Рыба дерг-дерг-дерг… — Он показал рукой, как будет дергаться поплавок.

— Ну что ж, здесь и впрямь не клюет. Пойдем, мальчик, — ответил Али Махмуд, вставая.

Юла удивился: знаменитый турок свободно и чисто говорил по-русски.

Они поднялись выше по реке и расположились в давно облюбованной Юлой черной бочажине. Работа пошла. Молча таскали они из реки плотвичек, язей, окуньков, пескарей.

Обратно возвращались вместе. Али Махмуд все расспрашивал о рыбе, о монастыре, о городе. Юла отвечал кратко, — ему хотелось поговорить совсем о другом: о борьбе, о цирке. И, наконец, видя, что они уже приближаются к базару, а Али Махмуд вовсе не собирается менять тему разговора, Юла рубанул напрямик:

— А трудно стать силачом?

Али Махмуд ответил почти не задумываясь. Вероятно, не раз уже задавали ему такой вопрос.

— Это очень просто, мальчик.

— Просто? — Юла недоверчиво покосился. — Значит, и я могу?

— Можешь…

— А как?

— Очень просто, — повторил Али Махмуд. — Пятнадцать подтягиваний. Пятнадцать утром, пятнадцать вечером — вот и все. На перекладине, на суку, на дверном косяке, на воротах — на чем хочешь. Пятнадцать подтягиваний, и через год — слышишь, мальчик? — всего через год ты станешь вдвое сильнее.

— Пятнадцать подтягиваний?

— Да.

— И вдвое сильнее?

— Да.

Юла искоса поглядывал на Али Махмуда. Шутит, что ли?

Они поравнялись с кондитерской.

— Хочешь, мальчик, пирожное? — предложил Али Махмуд. — Я угощаю…

Юла отказался. Пирожное — это, конечно, неплохо, но неприятно заходить в кондитерскую Яшкиного отца.

Пошли дальше. Потом Юла сообразил, что в кондитерской мог быть и сам Кривоносый. Вот бы здорово показаться ему рядом с Али Махмудом! Яшка лопнул бы от зависти. Но они уже прошли мимо кондитерской, а просить знаменитого турка вернуться было неловко.

Приблизились к цирку.

— Ну, прощай, мальчик, — сказал Али Махмуд. — Кстати, если еще увидимся, зови меня лучше Александром Максимовичем… Итак, запомни—пятнадцать… — Он махнул рукой и вошел в балаган.

Вскоре цирк уехал. А Юла еще недели две чуть не каждый день вспоминал совет Али Махмуда. Мыслимое ли дело — за год стать вдвое сильнее?

«Сбрехнул, конечно, фальшивый турок», — наконец твердо решил Юла и старался больше не думать об этом.

Шли дни. Кончилось лето. Началась учеба в школе. И в первый же день занятий, первого сентября, Юла, возвращаясь из школы, снова напоролся на Яшку Кривоносого.

— Гутен таг, — сказал Яшка. — Гут морген, Кай Юлий!

Его дружки захохотали.

— Чего ж ты не здороваешься, древний? — Яшка с силой провел ладонью Юле от подбородка до лба, больно задрав ему кончик носа.

Юла молчал. Злость и обида бурлили в нем. И, что самое скверное, слезы подступали к самому горлу. Только этого и не хватает! Разреветься на потеху воронихинцам.

— Храбрецы! — о трудом выдавил он. — Семеро на одного!..

— Можно и один на один, — с готовностью откликнулся Яшка.

И вдруг в голове у Юлы стремительно, как кадры в кинематографе, промелькнули и цирк, и Семка-мельник, лежащий на лопатках, и могучий Али Махмуд в борцовском трико, и его удивительный совет.

— Состоялось! — сказал Юла.

— Значит, деремся? — изумился Яшка.

— Деремся!

Яшка быстро скинул пиджак, передал соседу свой потрепанный портфель.

— Стой! — яростно крикнул Юла. — Мы деремся. Один на один. Но не сейчас…

— Когда же?

— Ровно через год. Запомнит в будущем году первого сентября я тебя поколочу, Здесь же. При всех. Клянусь!

— Фьють! — Яшка захохотал, приседая и хлопая себя ладонями по толстым ляжкам.

Смеялись и его дружки.

— Ловко придумал! — крикнул один из них. — Значит, целый год тебя пальцем не тронь?! Ишь как придумал! Хитро!

— Клянусь! — снова яростно выкрикнул Юла. — Ровно через год на этом же самом месте я побью тебя, Кривоносый…

— А если не побьешь? — ехидно вклинил Яшка.

— Если не побью? — Юла лишь на мгновенье задумался. — Слушайте все! Если я не побью, пусть Яшка выкрасит мне волосы суриком, и я целую неделю — слышали?! — целую неделю буду так ходить по всему городу…

Воронихинцы, пораженные, молча смотрели на Юлу.

— А в школу? — тихо спросил кто-то.

— И в школу…

— И дома?

— И дома…

— Отец выдерет…

— Пусть.

Столько злости и правдивости было в голосе Юлы, что ему поверили.

— Ладно! — с угрозой сказал Яшка. — Ровно через год. Только без всяких фиглей-миглей. Смотри, Цезарь!

— Без фиглей-миглей, — подтвердил Юла. — Ровно через год!

…Легко было сгоряча, в ярости крикнуть Яшке: «Я побью тебя!» Но когда Юла, вернувшись домой и немного успокоившись, представил себе, что предстоит ему через год, — на душе сразу стало скверно.

«Неужто придется целую неделю мотаться с крашеной головой?» — Юла зажмурился от ужаса.

Он рано улегся, но заснуть не мог.

«Ну, турок, выручай», — думал он.

Утром, до ухода в школу, он с безразличным видом подошел к дверному косяку, подпрыгнул, уцепился за поперечину. Повис, потом попробовал согнуть руки. Это удалось, но с трудом. Опустился, снова подтянулся.

Белены объелся?! — нахмурился отец. — Притолоку оторвешь.

Нам в школе задали, — соврал Юла.

Отец посмотрел-посмотрел, как он извивается всем телом, и сказал:

— Что червяк на крючке! Держи тулово прямо… Но без помощи ног и всего корпуса Юле было никак не подтянуться. В изнеможении он разжал скрюченные пальцы и очутился на полу.

«Четыре раза сделал, — подумал он. — А нужно пятнадцать».

От напряжения руки дрожали, как в ознобе.

Уже уходя в школу, он попробовал продолжить упражнение. Во дворе росла старая разлапистая сосна. Юла повис на нижнем суку, но подтянуться смог всего два раза.

В школе, на перемене, он подтянулся еще три раза.

«Итого — девять», — подсчитал он, возвращаясь домой.

После обеда он сразу снова взялся за дело. Подтянется несколько раз, отдохнет, поделает уроки, снова подтянется… За вечер вот так, с перерывами, он подтянулся двенадцать раз.

Ночью Юла ворочался с боку на бок. Руки, плечи и бока болели. Даже шея и та ныла и еле-еле поворачивалась.

«Странно, — думал Юла. — При чем тут шея?»

— Надо мне в школу зайтить, — посочувствовал утром отец, брызгая водой на коротко настриженную, уложенную рядами шерсть. — Узнаю, чего это у вас на зарядку навалились? Того гляди — руки отломятся.

Юлу не беспокоили его слова: отец никогда не заглядывал в школу, даже на собрания.

На следующий день боль немного поутихла. Но когда Юла попробовал повиснуть на ветке, руки снова так заныли — он сразу спрыгнул.

«С непривычки», — успокаивая себя, решил он и снова стал упражняться.

…Через два месяца он уже делал без перерыва пятнадцать подтягиваний.

— Молодцом! — сказал отец, катая навернутый на скалку войлок по полу.

«А что толку?!» — думал Юла, лежа в кровати.

Он долго ощупывал мускулы на руках: незаметно, чтоб они стали больше и крепче.

«Обманул, наверно, чертов турок», — расстроился Юла.

Но упражнения решил продолжать. Хода назад не было.

Прошел год. Первого сентября, еще утром, шагая к школе, Юла убедился: воронихинцы наготове.

— Как быть, Юла? — крикнул у моста маленький вертлявый Борька. — У нас сурика всего полбанки. Хватит?

Воронихинцы захохотали.

Юла, не отвечая, прошел в школу. На уроках он сидел тихо, глядя прямо в глаза учителю. Юла видел, как тот открывает рот, но почему-то ничего не слышал.

На физике Юла получил записку:

«После уроков у моста. Так?»

Он кивнул. Как назло, нынче он был каким-то вялым, сонным. И руки слабые, словно ватные. И в голове туман.

После уроков Юла вместе со своим одноклассником Колькой Самохиным — худеньким, очкастым, вечно погруженным в книги — прошел к реке. Там уже собралась целая толпа воронихинцев.

— Ну, — сказал Яшка, сося леденец. — Начнем? Ему не терпелось быстрее выкрасить своему врагу голову.

— Я — секундант Юлы, — важно объявил Колька Самохин. Он как раз недавно прочитал «Трех мушкетеров» и теперь жаждал применить свои знания. — Надо разработать условия дуэли.

Яшка оглянулся на своих: надо ли? Но воронихинцам, видимо, понравилось это звонкое слово — «дуэль».

— Дуй!

— Разрабатывай!

— Пусть все честь по чести!

Договорились быстро: под вздох не бить, подножек не ставить, в кулаки свинчаток, камней не прятать.

— Бой из пятнадцати раундов, — напоследок внушительно прибавил Колька (так всегда дрались боксеры у Джека Лондона). — Победа нокаутом или по очкам.

И хотя никто не понял, все согласились.

По настоянию Кольки Яшка тоже выбрал себе секунданта — шустрого Борьку с Ямской, ехидного паренька, который во время всех переговоров нарочно, стоя на самом виду, то и дело помешивал железным прутом от зонтика сурик в банке, поднимал прут, разглядывал, как с него медленно стекают обратно в банку тяжелые ярко-рыжие капли, и опять помешивал, вызывая смех и улыбки ребят.

Юла стоял молча. Он искоса бросал быстрые взгляды на Яшку. Грузный, нескладный, тот по-прежнему был на голову выше его. И руки длинные, как рычаги: такие везде достанут.

Воронихинцы в упор разглядывали Юлу. От них не укрылось, что плечи у него за последнее время развернулись, стали шире и крепче. Но все же он и теперь выглядел маленьким и, конечно, слабее Кривоносого.

— Гонг! — Строго скомандовал Колька. — Начинайте!

Кривоносый выплюнул леденец, похожий на сосульку, подскочил к Юле и наотмашь шлепнул его по щеке. Удар был несильный, но хлесткий и звонкий, как пощечина.

Ребята загоготали. Юла даже растерялся. А Кривоносый ударил еще и еще…

— Го! Лупи! Вот это врезал! — кричали зрители. Понемногу Юла оправился. Но он все еще ни разу по-настоящему не стукнул Яшку, а лишь оборонялся — отскакивал, наклонялся, увертывался.

— Сунь ему, Яшка! Так! Катай! — орали воронихинцы.

Юла чувствовал: в нем закипает ярость. Все, все против него. Все, кроме Кольки, жаждут, чтобы Яшка быстрее победил. Все хотят выкрасить ему голову суриком.

Нет, боли он не ощущал. Ни боли, ни усталости. Лишь злоба и желание победить, обязательно победить все сильнее разрастались в нем. Они дрались уже долго. Оба взмокли, громко сопели. Казалось, Яшка избивает Юлу. Многие думали, что Юла вот-вот свалится, сдастся.

Но зрители не замечали, что грузный, тяжелый Яшка уже устал и сует кулаками почти наугад, чаще в воздух, чем в Юлу. А тот еще свеж.

Воронихинцы насторожились, когда Юла вдруг нанес Кривоносому несколько точных ударов по голове. Потом отскочил и еще ударил правой и левой…

Зрители молчали. Не хотелось верить, что наступил перелом.

«Случайность, — убеждали себя воронихинцы. — Сейчас Яшка оправится, и тогда…»

Но Яшка уже не смог оправиться. Он побледнел, дышал тяжко, со свистом, и не бил, а лишь защищался.

Юла ударил его в подбородок, как показалось ему самому, совсем несильно, но вдруг у Яшки подогнулись колени, и он мягко, как куль с мукой, осел на землю. Из носа у него хлынула кровь.

— Ура! Нокаут! — радостно заорал Колька Самохин.

Кажется, больше всех был удивлен сам Юла. Он вовсе не ожидал, что его удар окажется таким могучим.

Оцепенели и зрители.

— Нокаут! — торжественно повторил Колька и поднял правую руку победителя: так всегда делал рефери — судья на ринге — у Джека Лондона.

Рассказывая, Юлий Петрович вертел в руках маленькую бронзовую фигурку штангиста.

— Так я побил Яшку, — Юлий Петрович поставил фигурку на стол. — И, пожалуй, этот бой можно считать началом моего спортивного пути. Колька Самохин потом, по дороге домой, то и дело щупал мои бицепсы и удивлялся, когда это они стали такими тугими и округлыми.

Я отвечал загадочно:

«Пятнадцать утром — пятнадцать вечером!»

И мысленно благодарил Али Махмуда за его простой, но поистине чудесный совет.

Побив Кривоносого, я чувствовал себя героем. И, конечно, сразу же решил бросить подтягивания: к чему? Однако… Оказывается, я уже привык каждый день делать упражнения. Меня прямо-таки тянуло к ним. А потом я увлекся футболом, борьбой и, наконец, штангой…

Юлий Петрович усмехнулся:

— Как видите, разными путями приходят люди в спорт…

## ТРУДНАЯ РОЛЬ

С. Чекану, заслуженному артисту РСФСР

Артист Евгений Пивоваров, стоя под душем, с удовольствием вскидывал то одну руку, то другую, наклонялся, приседал, радостно, шумно, как морж, фыркал и звучно похлопывал себя по груди и бокам. Целый день шла съемка. *Он*  еле дождался минуты, когда можно было сбросить с себя одеяние испанского гранда: широкий плащ, давно уже потерявший цвет, короткие, в обтяжку, штанишки, которые связывали его, как пеленки, бархатный камзол, пахнущий нафталином. В костюмерной уверяли, что одежда чистая, прошла дезинфекцию. Но Пивоварова преследовало ощущение, что все эти тряпки — пыльные, пропитаны чужим потом, чужими запахами.

В длинной, разделенной на шесть кафельных клеток душевой молча мылись еще несколько артистов. Слышался лишь легкий звон и плеск упругих струек, да изредка в трубах всхлипывало и урчало.

Повернувшись, Пивоваров вдруг обнаружил, что перед его кабинкой стоит режиссер Строков, дородный, бородатый, похожий на патриарха, с неизменным своим ассистентом Борисом Луминцем, которого все называли Лупитц, потому что кожа на его маленьком носике вечно лупилась, как на картофелине. Режиссер и ассистент молча пристально разглядывали моющегося артиста.

Пивоварову стало неуютно: голому человеку не очень-то приятно быть объектом изучения. Он даже стыдливо повернулся спиной к Строкову.

— А кажется, ничего… — прищурясь, задумчиво сказал тот ассистенту.

— Ничего, — подтвердил Лупитц, сморщив свой розовый носик, будто собирался чихнуть.

— Подойдет?

— Пожалуй…

Перекинувшись этими короткими, непонятными Пивоварову фразами, они замолчали и продолжали в упор, придирчиво разглядывать его, как дотошные покупатели — шкаф в мебельном магазине.

«Чего им?» — удивился Пивоваров.

Режиссер с ассистентом подождали, пока он вытерся, оделся. Втроем прошли в столовую. И тут, за столиком, Строков предложил Пивоварову сыграть заглавную роль в новом фильме, который скоро будет снимать.

— А какая роль? — небрежно, стараясь скрыть свою радость, спросил Пивоваров. Он был еще сравнительно молод, работал в театре, а в кино снимался лишь в эпизодах, и такое неожиданное, почетное предложение очень польстило ему.

— Чемпиона России. Борца.

— Чемпиона?! — артист еще более удивился. — Но ведь тут нужны данные… Мускулы, фигура…

— Ничего, — успокоил Строков. — Сложение у тебя — прямо Аполлон. Мускулатурку подработаешь. Время есть.

Всю дорогу домой Пивоваров улыбался. Шутка ли, такая удача! Главная роль!

Дома Пивоваров снял рубашку, брюки, подошел к зеркалу, долго, придирчиво оглядывал себя. Из зеркала на него смотрел высокий, чуть огрузневший тридцатидвухлетний мужчина. В юности Пивоваров увлекался спортом, и следы этого сохранились до сих пор: развернутые плечи, прямая спина, хорошая осанка. Но только следы. Глядя в зеркало, он с грустью отмечал: грудь жирновата, и ноги тоже. И даже брюшко намечается. А главное, нет той мощи, которой всегда веет от борца-чемпиона, от его выпуклой, могучей груди, короткой, словно литой, шеи, широких покатых плеч, крепких, как колонны, ног.

С трудом выждав несколько дней (для солидности, чтобы у режиссера не создалось впечатления, будто он не раздумывая хватает роль), Пивоваров сообщил о своем согласии.

— Ну и отлично! — одобрил Строков. — Съемки начнутся в будущем году. А пока «тренируйся, если хочешь быть борцом!» — басом фальшиво пропел он, чуть переиначив слова популярной песенки. — Тренера достану.

Через три дня Пивоваров пришел в спортивный зал Дома офицеров. На толстом мягком квадратном ковре, похожем на десятиспальный тюфяк, пыхтели два борца — полутяжеловеса. Огромные, массивные тела их лоснились, словно смазанные жиром. Один стоял на четвереньках, опираясь на локти и колени, и снизу настороженно следил за малейшим движением противника, а тот пытался перевернуть его на лопатки.

На низкой скамейке сидели еще шестеро борцов, внимательно наблюдая за схваткой.

— Мне бы Гургенидзе, — смущенно пробормотал Пивоваров, обращаясь к одному из спортсменов, здоровенному парню с тугим красным затылком и белыми, крупными, как клавиши, зубами.

— А вот. — Тот показал глазами на высокого мужчину в синем тренировочном костюме. У него были иссиня-черные, коротко подстриженные волосы и такие же черные, быстрые, живые глаза.

Тренер оказался в курсе дел.

— А, товарищ артист! — воскликнул он, дружески тиская руку Пивоварову. — Нужен чемпион — сделаем чемпиона! О чем разговор?!

Говорил он по-русски вполне правильно, но с легким кавказским акцентом.

По его указанию Пивоваров разделся и сел на скамейку рядом с другими борцами. На ковре работала уже новая пара.

Чувствовал себя Пивоваров неловко. Борцы были все молодые, кряжистые парни, перворазрядники. Артист понимал: рядом с их могучими фигурами, хранящими и сейчас, зимой, следы загара, сам он, белый, словно облитый простоквашей, и рыхлый, выглядит странно, пожалуй, даже смешно.

Пивоваров боялся, что горячий, быстрый тренер сейчас предложит ему просто так, для пробы, помериться силами с кем-либо из сидящих. Вот уж будет забава для этих молодых, задиристых ребят, охотно скалящих зубы по любому поводу.

Но грубоватый на вид тренер оказался деликатным: он словно забыл о Пивоварове. Все занятие не трогал его, давая успокоиться и приглядеться. И лишь когда спортсмены ушли и зал опустел, улыбаясь повторил:

— Нужен чемпион — будет чемпион! О чем разговор?!

Он заставил артиста сделать несколько гимнастических упражнений, побегать, попрыгать через скакалку. Кратко изложил основные правила борьбы и дал кое-какие советы.

Назавтра Пивоваров поехал в спортивный магазин. Купил гантели и гирю-пудовку. Везти этот груз в троллейбусе было бы тяжело и неловко. Он оставил покупки у продавщицы, вышел на улицу, подозвал такси. Хотел взять сразу и гантели, и гирю, перенести их в машину, но заторопился, одна гантель выскочила из рук, гулко бухнулась на пол. Хорошо еще, никого не стукнула. Все стоящие в магазине разом поглядели на Пивоварова.

Отныне жизнь Пивоварова резко изменилась. Как и многие артисты, он привык вставать поздно, часов в десять—одиннадцать. Да и то сказать: пока окончится вечерний спектакль, пока снимешь грим, переоденешься, доберешься до дому, поешь, то да се — раньше часу ночи не ляжешь. А иногда и в два. Но теперь тренер на обложке блокнота записал Пивоварову жесткий режим: «Подъем — 8 часов, зарядка — 8-30».

— А спать когда? — растерялся артист.

— С двенадцати до восьми все бока отлежишь. О чем разговор?!

— А зарядка? Обязательно? — совсем приуныл Пивоваров. Он уже давно отвык от нее.

— Непременно! Нет зарядки — нет чемпиона!

Ежедневно проходили и занятия в зале. Как на грех, на первой же тренировке Пивоваров случайно поцарапал себе лицо.

— Кожа как у девицы, — сказал тренер.

— Походит к нам, задубится, станет щека как подошва, — грубо пошутил кто-то из борцов.

Царапина была пустяковая, но некрасивая: шла через всю щеку и даже взбиралась на нос. Жена, увидев ее, передернула плечами, но промолчала. И лишь уходя на работу, бросила:

— Пудра на трельяже…

Тело у Пивоварова ныло, будто его вчера сильно избили. Ныли руки и особенно плечи, ныли ноги, да так, что нельзя было притронуться к икрам, кололо в пояснице, шея не поворачивалась, словно одеревенела.

«Это в первые дни. Потом пройдет», — успокаивал себя Пивоваров, но настроение почему-то не улучшалось.

День у Пивоварова теперь был сжат, как под прессом. Зарядка, тренировки на ковре, кроссы. Жену Пивоваров почти не видел. Она уходила на фабрику — он еще спал. Возвращалась — муж был на спектакле. Приходил он — она уже спала.

— Все не по-людски, — жаловалась жена. — У других роли как роли, а тут изведешься…

Пивоваров иногда и сам жалел, что взялся за эту роль. Возни много, а будет ли толк?! Как добиться, чтобы на экране получился настоящий борец, а не жалкая подделка, которая всегда смешит и раздражает дотошных болельщиков?!

Попробовал Пивоваров зайти в гримерную. Главный гример, тощий сутулый старик с косматыми бровями, был страстным любителем кино и изобретал такие штуки, что посторонним даже не верилось. Он с интересом выслушал просьбу Пивоварова, но помочь отказался.

— Кино, батенька, это вам не театр, — наставительно и строго произнес он. — Вот в театре запросто из старой песочницы восемнадцатилетнюю красотку сделают, а из девчонки — беззубую ведьму. Там это раз плюнуть. Зритель от сцены далеко, ему не видны ни приклеенные носы, ни накладки на животе или спине.

А в кино номер не пройдет! Не прилепишь же мускулы?! Возьмут вас крупным планом, и зритель сразу раскусит подделку. Да кроме того, — старик махнул рукой, — во время состязания все эти «мускулы» полетят к чертям… Броски Пивоваров отрабатывал сперва с чучелом и лишь потом — с живым партнером.

Чучело было страшное: брезентовый мешок, набитый опилками и песком. Вместо головы — футбольный мяч. Руки есть, а ног нет. Оно напоминало сразу и снежную бабу, и огородное пугало.

С чучелом все выходило гладко. Полусуплес, бросок через спину, — и чучело на лопатках. А с противником приемы «не шли», получались нечисто, с трудом.

— Грязь! — укоризненно восклицал тренер.

Особенно досталось Пивоварову, когда стали работать с учетом сценария. Артист прочитал его несколько раз. Это была история знаменитого русского борца (автор, вероятно, имел в виду Ивана Поддубного, хотя в сценарии чемпион носил другую фамилию). Этот борец-самородок чуть не до старости выступал во всех концах света и клал на лопатки всех своих прославленных противников. Это все было хорошо. Хуже, что в фильме мало показывалась личная жизнь чемпиона, его мысли и чувства. Зритель видел его главным образом на ковре или возле ковра.

— Ничего, — успокоил Пивоварова режиссер. — Это первый вариант. Писатель сейчас дорабатывает.

По сценарию в начале фильма будущего чемпиона бросает суплесом на ковер заезжий немец-гастролер. Сценка была очень эффектная. Немца играл артист Кобзев — опытный спортсмен. Он был рыжий, и весь густо покрыт волосами: грудь, плечи, ноги, руки и даже пальцы. Этой своей «характерностью» Кобзев, наверно, и пленил режиссерское сердце. Кобзеву этот эпизод полюбился. И чуть не каждый день он порывался тренировать его. А когда тебя бросают суплесом и ты беспомощно летишь, переворачиваясь в воздухе и на мгновение даже теряя представление, где земля, а где небо, — ощущение малоприятное. Пивоваров всячески избегал усиленных повторных репетиций этого приема, советовал партнеру работать с чучелом. Но зловредный Кобзев утверждал, что с чучелом эффект не тот, и снова просил «подрепетнуть» понравившуюся ему сценку.

Тяжела была и работа над шеей. Гургснидзе любил повторять: «Для борца шея — как пробковый круг для тонущего!»

И Пивоваров вскоре убедился: правильный афоризм. Крепкая шея выручает борца в самом, казалось бы, безнадежном положении. Вот-вот положат его на лопатки, но он, по-кошачьи извернувшись, становится на мост. И как противник ни давит его, «дожать» мост не может. Но, чтобы устоять на мосту, надо ежедневно тренировать, «качать» шею, как говорят борцы. Занятие это нудное и утомительное. А бывало еще, тренер подойдет, когда ты стоишь на мосту, и сядет тебе на живот, И сидит, как на скамейке. А ты стой на мосту, хотя кажется, сейчас от страшного напряжения хрустнут шейные позвонки.

Усталый, совсем закружившийся в непрерывном хороводе спектаклей, репетиций и тренировок, Пивоваров частенько думал: «Не везет! Сколько сил трачу на эту чертову борьбу! А у других роли врача, продавщицы, хозяина цирка. Никакой специальной подготовки. Красота!»

Часто теперь Пивоваров подходил к зеркалу, рассматривал себя.

«Плечи стали шире, — с удовольствием отмечал он. — Бицепсы выросли…»

Внешне он уже походил на настоящего борца. И очень обрадовался, когда однажды в зале за своей спиной услышал уважительный шепот парнишки из ремесленного училища:

— Это кто? Из «Динамо»?..

Так незаметно прошло более полугода. Кончился подготовительный период. Начались съемки.

В огромном центральном павильоне киностудии с утра до ночи стучали молотки, шаркали рубанки, звенели пилы. Плотники строили цирк. В дни съемок передние ряды густо заполнялись статистами: тут были и старики, и студенты, и девушки, и какие-то интеллигентные пожилые дамы. А на задних рядах, которые тонули в дыму (им пиротехники специально окуривали павильон, чтобы создалось ощущение «дали», перспективы), на задних рядах к скамейкам приколотили раскрашенные фанерные силуэты людей. Это была «толпа».

Теперь, когда начались съемки, Пивоваров почувствовал себя уверенней. Колебания, преследовавшие его последние полгода — сумеет ли он сыграть борца, чемпиона, — кончились. Начались съемки—надо работать, некогда размышлять.

Нагрузка была очень большая. Любую, даже самую пустяковую сцену на ковре перед съемкой повторяли много раз, добиваясь предельной четкости и выразительности каждого слова, каждого жеста. Артисты-борцы чуть не целые дни находились, как говорят спортсмены, «в разогретом состоянии». К концу дня Пивоваров бывал совершенно измочален.

Были уже отсняты сотни метров, а Пивоваров, просматривая готовые эпизоды, так и не знал: удачна ли его работа, похож ли его чемпион на подлинного борца?

Все как будто и неплохо, но все-таки твердой уверенности в конечном успехе не было. И только однажды она вдруг появилась. Пивоваров в тот день должен был бороться с турком Али-Гусейном и победить его. На репетициях точно установили ход схватки: захват руки на ключ, стремительный бросок и туше. Все эти приемы Пивоваров и Али-Гусейн (артист Самохин) повторили десятки раз, и казалось, сцена уже идет как по маслу.

Но Пивоваров все же чувствовал какую-то неудовлетворенность: скованно, слишком напряженно велась борьба.

Это ощущали и режиссер, и Гургенидзе. Трижды снимали эту сцену, и все неудачно.

— Повторить! — басом скомандовал Строков. — Мотор!

— Есть мотор!

И эпизод начали снимать четвертый раз. Разгорячившись, Пивоваров вдруг словно забыл весь этот тщательно разработанный каскад приемов. Он схватился с Али-Гусейном по-настоящему. Неожиданным быстрым полусуплесом кинул его через себя, турок стал на мост, и Пивоваров начал яростно дожимать его. — Так, так! — оживившись, шептал режиссер.

Оператор не отрывался от глазка.

Пивоваров и сам чувствовал: сцена идет легко, живо, естественно. И когда потом просмотрели отснятые кадры, так и оказалось.

Кто не знает, как делается фильм, тому не объяснишь тот подъем, то нервное напряжение, в котором пребывают все исполнители в период съемки. В эти месяцы все, начиная от костюмеров и осветителей и кончая режиссером, сценаристом и директором картины, теряют счет дням и часам, как на войне или у постели тяжелобольного.

И Пивоваров, хотя уже привык к съемкам, в эти недели и месяцы чувствовал себя так, словно пульс у него вдруг резко участился, а тело, как в космосе, потеряло весомость.

Как всегда, снимали сцены вперемежку; то из финала фильма, то из начала и середины; все путалось, к тому же некоторые эпизоды потом браковались, их надо было играть заново, и у артистов постепенно исчезало ощущение—много отснято или мало? Где конец?

Только всеведущий режиссер, не расстающийся с истрепанным, исчерканным цветными карандашами сценарием, знал это.

Поэтому Пивоварову показалось неожиданным, когда однажды небритый, осунувшийся Лупитц с шелушащимся, как всегда, носиком на бегу кинул, что завтра-послезавтра конец.

И вдруг все оборвалось. Внезапно наступила тишина и спокойствие. Это было почти невероятно. Такое чувство знакомо морякам, когда восьмибалльная буря вдруг сменяется полным штилем.

Съемки окончились. Правда, впереди было еще много работы: монтаж, «шумы», музыка и прочее. Но Пивоварова это уже не касалось.

Первые два дня он отдыхал. Отдыхал примитивно, но о большем он пока и не мечтал. Много спал, сидел в сквере, полузакрыв глаза, подставив лицо ветерку и солнцу, кормил голубей на площади возле старой церкви.

Так приятно было забыть о надоевших тренировках на ковре, о всяких суплесах, переворотах и захватах.: Даже зарядку по утрам и ту забросил.

В свободное время он с женой обсуждал планы поездки на Кавказ, разрабатывал пеший поход по Военно-Сухумской дороге.

Так прошло несколько дней. Но вскоре Пивоваров почувствовал пустоту. Чего-то будто не хватало.

«Отдых, как известно, быстро приедается», — подумал он и поехал на студию.

Там, на одном из кабинетов, по-прежнему висела табличка: «Чемпион России». Здесь помещался штаб картины.

Пивоваров потолкался в длинных коридорах студии среди артистов, операторов, художников, музыкантов, редакторов, режиссеров, всей этой пестрой, шумной и яркой «киношной» братии, наслушался всяких новейших известий и сплетен. Все шло как обычно. Однако непривычное ощущение пустоты и какой-то скованности не исчезало.

«Что бы это? — обеспокоился Пивоваров. — Уж не заболел ли я?»

Он пошел в буфет. Там встретил Строкова. Патриаршья борода режиссера за время съемок разрослась еще пышнее.

— Ну как? — весело воскликнул Строков. — Бросок через бедро? Захват под ключ?

— На ключ, — поправил Пивоваров и вдруг ясно почувствовал, как здорово соскучился он по пылкому, темпераментному Гургенидзе, и по смешливым ребятам перворазрядникам, и по мягкому борцовскому ковру.

— Вчера видел твоего «кавказского человека», — продолжал Строков. — В бухгалтерии. Тренер там деньги за тебя получал. Последний раз. Да, влетел ты нам в копеечку! Но амба!

Пивоваров вышел на улицу. Сверкал солнечными брызгами отличный денек. Небо было чистое-чистое, синее и блестело как эмалированное. Вдали, словно легкий, из марли, задник в театре, колыхался и дрожал нагретый воздух.

Сняв шляпу, артист неторопливо шагал по бульвару. Хрустел песок под ногами. Листья на деревьях, промытые утренним дождем, были гладкие и блестящие, словно вырезаны из жести. Налетел ветер, и Пивоварову почудилось даже, что они загремели.

До дома было далеко, но Пивоваров не сел в автобус. Больно уж хороша погодка! Он шел, наслаждаясь теплом и светом, и все-таки чувствовал: чего-то не хватает, что-то грызет его.

Пересек площадь, миновал мост, потом посмотрел на часы и вдруг, неожиданно для самого себя, свернул к Дому офицеров. Сейчас как раз тренировка перворазрядников.

В зале сумрачно, прохладно. На низкой, узкой скамье сидели пятеро спортсменов в трико и туфлях. Пара тяжеловесов работала на ковре. Тут же со свистком во рту и черным, сверкающим, будто напомаженным, ежиком волос стоял Гургенидзе.

Пивоваров усмехнулся. Все это живо напомнило ему первый его приход сюда. Так же сидели коренастые, крутоплечие парни на скамье, так же на ковре сопели, как астматики, тяжеловесы, и так же блестели, словно лакированные, волосы у тренера.

Встретили Пивоварова радушно. Чья-то крепкая ладонь весомо похлопала по плечу. Кто-то пробасил:

— Привет чемпиону!

Парень с крупными, как клавиши, зубами (его звали Котя) грубовато сказал:

— Чего в штанах-то? Как гость стоишь?

Но Пивоваров не раздевался. Студия больше не платит за него. Значит, и эксплуатировать Гургенидзе как-то неудобно. Тренер, вероятно, догадался о его мыслях.

— Следующая пара Лимонов — Рюмин, приготовиться Пивоварову — Мясникову, — скомандовал он.

И вскоре Пивоваров в одних трусах уже топтался на ковре, атаковал, хитрил, защищался и снова наступал.

А когда схватка кончилась, он, стоя под душем, почувствовал: на сердце снова легко и ясно. С мускулов слетело тягостное ощущение связанности, одеревенелости, сковывавшее их все последние дни. Тело опять было молодо, наполнено силой и взрывной энергией.

«Э, нет, — усмехаясь, подумал он. — Из этого зала так запросто меня не вытуришь! Дудки!»

## ШОК

Ранним летним утром пляж был почти пуст.

Котька — невысокий, щупленький, в очках, — лежа на животе, руками подгребал себе под бока и плечи теплый песок. Котька только что вылез из воды. Его спина, покрытая фиолетово-красными пупырышками, то и дело вздрагивала, как у лошади, когда ее жалят слепни.

Его приятель — Юрка — лежал на спине, подсунув руки под голову, и смотрел в прозрачное зеленоватое небо. Там медленно ползло одинокое облачко, очень похожее на старинный корабль: вот и мачты, и высоко вздернутый нос с торчащим бушпритом, и плоская резная корма. И даже флаг полощется над каравеллой.

Юрка — крепкий, рослый паренек — был в сухих трусах. Видно, еще не купался. На его заложенных под голову руках рельефно выделялись продолговатые тугие бицепсы.

Мальчишки долго лежали молча. Котька читал «Двух капитанов», а Юрка по-прежнему смотрел в небо. Каравелла уже уплыла, растаяла вдали, вместо нее появилось другое облачко, похожее на гармонь. Иногда ветер растягивал мехи этой гармони, и тогда Юрке казалось, что и впрямь слышатся какие-то звуки.

— Купнемся? — Котька отложил книгу. Юрка молча встал.

С обрывистого берега Котька прыгнул в воду и поплыл, размашисто выбрасывая руки. Река была неширокая, вскоре он уже оказался на середине. Крикнул:

— Дуй сюда!

Юрка не ответил. Он стоял по колено в воде возле берега, в том месте, где пляж отлого спускался к реке. Горстями зачерпывал воду и поливал себе плечи и грудь. Потом этот крепкий, спортивного вида парнишка несколько раз присел, как это делают неумеющие плавать пожилые женщины, побултыхался в воде и вышел на берег.

— Давай сюда! — опять позвал с середины реки Котька.

Но Юрка, не отвечая, зашагал к своей одежде и лег на подстеленное полотенце. Вскоре и Котька устроился рядом.

— Опять не плавал? — спросил он.

— Неохота, — вяло отозвался Юрка. — Зябко нынче.

Денек был вовсе не холодный, даже наоборот, но Котька промолчал.

— И вообще… долго купаться вредно, — сказал Юрка. — Затрачивается много калорий.

Котька опять промолчал. Насчет калорий Юрка уже не первый раз твердит. Ишь, профессор! Небось в прошлом году, когда целыми днями из воды не вылезал, не вспоминал про калории!

Да чего попусту язык-то изнашивать?! Котька отлично знал, почему теперь Юрка копошится возле берега, как дошколенок, а на глубину — ни-ни.

Прошлым летом Юрка тонул. Тут же вот, как раз напротив этих кустов. Как это случилось, трудно понять. Ведь плавал Юрка здорово, пожалуй, лучше всех в школе. И уж, конечно, гораздо лучше Котьки.

Судорогой ноги свело? Или обморок? Или в яму затянуло? Хотя — какие тут ямы?!.

Но, в общем, стал Юрка тонуть. И, главное, в первый момент никто из купающихся не заметил этого. Когда хватились, — стали нырять, по дну шарить. К счастью, быстро нашли. Ну, вытащили. Откачали.

Все, казалось, кончилось благополучно. Но Котька стал замечать: с того дня Юрку словно подменили. Робкий какой-то стал, нерешительный. Воды он теперь прямо-таки боялся. Пополощется возле берега — и все. А плавать — ни за что. Ну, никак…

Да не только в воде. Он вообще какой-то другой стал.

Идет с Котькой по грибы, то и дело в лесу оглядывается, дорогу запоминает. Даже веточки кое-где втыкает. Чтобы, значит, не заблудиться. А где тут заблудишься?! Лес этот мальчишками вдоль и поперек истоптан. И до шоссе — километра два, не больше.

В волейбол — а Юрка раньше классным игроком был — выскочит над сеткой, а ударяет как-то вяло, словно колеблется — бить ли? А прежде резко, смело гасил.

Котька видел: с другом неладно. И так, и этак к нему подступал. Все без толку. Котька по секрету даже с физруком советовался.

— Трудный случай, — нахмурился тот. — Понимаешь, это психологический шок. Ну, потрясение такое. Очень сильное потрясение. После такого шока всякие заскоки бывают. Мой дядя лет десять назад в автомобильную аварию попал. И вот с тех пор по железной дороге — сколько угодно, на самолете — пожалуйста, а в такси — ни за что… Ни разу в машину не сел! За десять лет ни разу!

Котька вздохнул:

— Что же делать?

Физрук пожал плечами:

— Подождем! Авось время излечит. Время — великий врач!

Да, может быть, оно и так. Но месяцы шли, а Котька не замечал улучшений. По-прежнему Юрка был вялый, словно вечно недосыпал.

Вот и сейчас, лежа на пляже, Котька смотрел в книгу, но не читал.

«Неужели ж Юрка таким и останется? На всю жизнь? — размышлял он. — Что же придумать? Вот в книгах — там всегда герой добивается своего. Уж, казалось бы, совсем тупик, а он — нет, не сдается и побеждает. Но то в книгах…» — Котька вздохнул, перевернулся набок и зарылся поглубже в горячий песок.

«Может, сводить Юрку на какую-нибудь лекцию? О храбрости. Или о пограничниках. Как они отважно шпионов ловят?..»

Котька подумал и сплюнул: нет, лекцией Юрку не прошибешь.

«А может, ему толковую книжку подсунуть? Вот хотя бы „Двух капитанов“. Пусть Санька Григорьев на него подействует!»

Котька наморщил лоб: нет, не подействует. Юрка и так много читает. И про героев и про все прочее. А в воде по-прежнему дрейфит.

«Что же придумать?»

Котька встал. Задумчиво посмотрел через реку на противоположный берег. Но взгляд у него был такой, словно он смотрит не вперед, а, наоборот, — назад, в себя. Можно ручаться, что он не видел даже домов на том берегу, не то что уж предметов помельче.

Так он простоял несколько минут, потом быстро зашагал к воде.

— Ты чего? — удивился Юрка. — Опять купаться? Холодно же…

— Не! Не холодно! — Котька прыгнул с обрыва и поплыл.

Юрка снова стал смотреть в высокое прозрачное небо. Где-то вдали катер дал гудок, и он долго глухо перекатывался над водой, пока не заблудился где-то в густом бору.

Вдруг Юрка услышал крик:

— Спасите! Ой! Спаси…

Юрка вскочил: на середине реки барахтался Котька. Он то выскакивал из воды, бестолково размахивая руками, то вновь проваливался в глубину. Вот он опять вынырнул, очумело мотает головой, изо рта — целая струя воды. Даже кричать, видно, уже не в силах.

И, как на зло, на пляже — никого из взрослых. Только несколько малышей. Мечутся, кричат, да помочь не в силах.

Юрка бросился к берегу. У обрыва остановился, Сердце екнуло: так давно не плавал!..

Но через секунду Юрка уже прыгнул в реку и стремительно понесся вперед.

— Правей! Правей! — кричали малыши и руками показывали, куда плыть.

Юрка мчался, вспарывая воду, как торпеда. Никогда еще он так не плыл. Голова его и тело были под водой. Только на секунду показывался широко открытый рот, глоток воздуха, и опять — вперед!

Вот и Котька: от страха выпучены глаза, руки беспорядочно шлепают по воде.

— А-а! — кричит он и тянется к Юрке. — А-а!

— Спокойно! — говорит Юрка. — Спокойно! Подплывает совсем близко к Котьке, но так, чтобы тот не мог ухватиться за него.

— Ляг на спину! — строго командует Юрка. — Ну! И Котька покорно переворачивается животом кверху.

— Спокойно! — властно говорит Юрка. — Спокойно. Ничего не случится. Я рядом. Значит, не утонешь. Дыши глубже.

И Котька вытягивается в воде и старается дышать глубже.

— Так, — говорит Юрка. — Порядок! Сейчас отдохнешь — и двинемся к берегу.

Юрка во все глаза наблюдает за другом. Все-таки молодец Котька! Тонул, а не растерялся. Вот уже пришел в себя. И не хватается за спасающего — это не каждый может. Другой обалдеет, вцепится, как клещ, и сам тонет, и спасающего губит. Юрка не раз такие истории слышал.

А Котька — молодчага! И как послушно исполняет команды!..

— Ну, поплыли! — говорит Юрка. — Не беспокойся! Если что — я рядом…

Котька кивает. Он переворачивается на грудь и медленно плывет к берегу. Руками загребает по-собачьи. Видимо, на саженки сил нет. И все время отплевывается: здорово наглотался все-таки…

Так добираются они до пляжа.

Малыши встречают их восторженными криками. Впрочем, на берегу уже не только малыши. Откуда-то набежали еще ребята. Вот Шурка — из седьмого «б», вот Мишка — из восьмого.

Все они глядят на Юрку, а малыши прямо льнут к нему, — кажется, сейчас даже полезут обнимать его, мокрого.

— Ну и плыл Юра! Ну и плыл! — взахлеб кричит толстый карапуз. — Раз, раз, раз! — он энергично машет руками.

— Да, здорово шел, — солидно говорит Шурка из седьмого «б». — Если бы время засечь, может, рекорд побил?!

А маленькая девочка, сунув палец в рот, смотрит на Юрку с таким восхищением, как, наверно, глядели люди на его тезку — Юрия Гагарина.

На Котьку никто почти не обращает внимания. Невысокий, щупленький, он сидит на песке, то и дело сплевывает и тоже с уважением говорит:

— Да, без Юрки мне бы — труба! Каюк!

— Ну, чего ты? И сам выбрался бы, — смущается Юрка.

— Мне бы так плавать! — с завистью бормочет толстый мальчишка. — Вот бы красота!

— А что? — говорит Котька. — Попроси Юру, он тебя обучит. Верно, Юра?

Юрка ковыряет ногой песок:

— Ну что ж… Можно.

Входит в воду и показывает малышу, как надо двигать руками, как правильно делать вдох-выдох.

Остальные ребята вскоре разбредаются по пляжу.

Котька берет «Двух капитанов», ложится. Но не читает. Долго следит он, как Юрка обучает малыша.

Улыбается и, довольный, подмигивает сам себе:

«Порядок! Теперь будет плавать! И никаких шоков!»

## «ВНЕ ЗАЧЕТА»

Друзья часто называли его «теленком».

Бирюков не сердился.

Огромный, широкий, плотный, он с высоты своего почти двухметрового роста невозмутимо оглядывал товарищей и лишь застенчиво улыбался.

Как большинство силачей-великанов, Иван Бирюков был медлителен и чересчур спокоен. Он обладал и силой, и выносливостью, но излишнее добродушие мешало ему бороться за почетное звание чемпиона Института живописи, скульптуры и архитектуры. На прошлом первенстве института он пришел к финишу одиннадцатым. Однако неудача не слишком огорчила его.

— Ну чего там… Ну, право, ерунда, — смущенно басил Бирюков, отбиваясь от наседавших товарищей. — Ну, не все ль одно — Брегвадзе стал чемпионом или я? Он студент, и я студент; он комсомолец, и я комсомолец…

— Он молодец, а ты шляпа! Он спортсмен, а ты тюфяк! — горячился высокий длинноногий живописец Коля Ивлев, один из лучших институтских лыжников. — Он шел, не жалея сил, а ты на дистанции завтракать стал.

— Какое там завтракать?! Обедать! — возмущенно перебил Ивлева маленький шустрый скульптор Миша Левчук.

Миша увлекался велосипедом, а не лыжами, но болел за всех институтских спортсменов и не пропускал ни одного состязания.

— Этот малютка, — тут Миша гневно постучал кулаком в широкую грудь Бирюкова, и она глухо загудела, — этот малютка на двадцати километрах успел трижды плотно поесть. Способный ребенок! В карманах — целый питательный пункт! Пройдет два — три километра, сойдет с лыжни и подкрепляется, как в ресторане. Болельщики кричат: «Тебя обходят!» — а он — хоть бы хны! — уплетает за обе щеки.

— Ну, уж за обе, — невозмутимо оправдывался Бирюков. — Всего-то бутербродик проглотил да еще махонькую плиточку шоколаду…

— Да еще небольшого жареного поросенка!.. — насмешливо подсказывал Левчук.

Друзья не знали, как помочь Бирюкову. У него полностью отсутствовала «спортивная злость», азарт борьбы. Хоть он и любил лыжи и владел ими так, что они казались естественным продолжением его ног, но шел на состязаниях почти как на прогулке — спокойно, неторопливо, не особенно тревожась, даже когда слабые лыжники обгоняли его.

На финиш он всегда приходил бодрым.

— Ты не умеешь уставать! — злился Левчук. — Научись «выкладываться» до предела. Ведь ты свежий как яблочко! Наверно, можешь сейчас снова пройти все восемнадцать километров?!

— Могу! — виновато соглашался Бирюков. Левчук безнадежно разводил руками и ставил диагноз:

— Сердце здоровое, но не спортивное!

Коля Ивлев в перерывах между лекциями часто подсаживался к Бирюкову с новым спортивным журналом или газетой.

— Интересная заметка, — говорил он, пытаясь раззадорить друга. — Чемпион СССР Зимин прошел пятьдесят километров быстрее всех участников гонки. За время пути он потерял два килограмма шестьсот граммов собственного веса. Значит, не ленился, работал вовсю, не как некоторые…

— На три килограмма похудел! — сокрушенно вздыхал Бирюков. — Так от него после нескольких соревнований только кожа да кости останутся.

— Тюфяк! — злился Ивлев. — Да у него назавтра вес восстановится! Еще здоровее будет…

Видя, что тонкие дипломатические уловки не помогают, Ивлев переходил в прямую атаку.

— Позор! — набрасывается он на Бирюкова. — Ведь тебя, слона такого, однажды даже щупленький Козаченко обошел!

— Козаченко — как бык упрямый, — невозмутимо отвечал Бирюков. — У него уж и сил нет, и сопит, как паровоз, а все идет, все первым хочет быть.

…Предстояли межвузовские соревнования.

В институтскую команду входило двенадцать студентов-спортсменов. Сам Бирюков в шутку называл себя то «внезачетным», то «запасным». Собственно говоря, запасным его никто не делал. В официальных протоколах судейской коллегии он числился равноправным членом команды. Но зачет производился по первым десяти лыжникам. Время последних — одиннадцатого и двенадцатого — не учитывалось. А Бирюков обычно приходил именно одиннадцатым. Поэтому он и стал считать себя «внезачетным». Друзья, сперва шепотом, между собой, а потом открыто, вслух, тоже стали называть его так.

Бирюков уже привык к своей роли постоянного «внезачетника», но, не огорчался и даже был доволен.

Хорошо зимой в лесу! Легко скользишь по укатанной лыжне. Вокруг задумчиво дремлют пушистые ели. Бежишь не слишком торопясь, вдыхая всей грудью морозный воздух. Бирюкова это вполне устраивало.

Но ребята возмущались.

— Ты бы хоть разок одного из нас обошел, — сердито говорил Ивлев. — Не надоело тебе вечно быть «вне»?!

Бирюков отмалчивался.

На городских межвузовских соревнованиях к команде Института живописи сперва отнеслись недоверчиво, не считая ее серьезным претендентом на первые места.

— Художники! Служители муз! Воздушные создания! — иронически перемигивались студенты других институтов — технологи, кораблестроители, физики, электротехники, горняки. — Им кисточки держать, а не лыжные палки!

Но команда Института живописи быстро заставила шутников замолчать. Художники подобрались все как один — здоровые, сильные, рослые парни. Они уже выиграли десятикилометровку. Предстояла гонка на тридцать километров — самое трудное испытание. На этой дистанции особенно сильны кораблестроители.

…На большой стартовой поляне, окруженной густым, молодым ельником, суетился Миша Левчук, в кожаной куртке ядовито-малинового цвета, с многочисленными «молниями». Он пришивал нагрудные номера своим товарищам и то и дело озабоченно щелкал секундомером, сверяя его с судейским. В руке Миша держал чемоданчик с лыжными мазями, а на боку при каждом движении раскачивался огромный, похожий на орудийный снаряд, термос.

— Я буду ждать на двенадцатом километре, — возбужденно сообщал Миша всем членам команды. — Вы, миленькие, постарайтесь. Жмите…

Все обещали жать. Только Бирюков промолчал.

— И ты жми, — набросился на него Левчук. — Мало ли что… Вдруг кто-нибудь подвернет ногу или сломает лыжу…

Бирюков отмахнулся.

На утрамбованной сотнями ног стартовой площадке становилось все оживленнее. Яркие костюмы лыжников пестрели на снегу. Смех, шутки, разговоры сливались в один радостный гул.

В морозном воздухе резко прозвучала команда судьи, и к кумачовому плакату подошел Брегвадзе — «первая лыжа» Института живописи. Опершись на палки, он непрерывно двигал лыжами, чтобы к ним не примерзли комочки снега. Недалеко от него, в синем свитере, напряженно подавшись вперед, стоял Ивлев.

— Внимание! — крикнул стартер.

Брегвадзе замер. Судья приготовил секундомер.

— Марш!

Мелькнул красный флажок стартера. Лыжник стремительно рванулся вперед, взметая снежную пыль.

Вскоре старт взял Ивлев, а через некоторое время и Бирюков. Шел он спокойно, не напрягаясь.

На четвертом километре, под огромной разлапистой елью курносый паренек-контролер, студент-первокурсник, гордый своими обязанностями, записал на куске картона номер Бирюкова и насмешливо крикнул:

— Отстаете, гражданин! Бирюков, не отвечая, прошел мимо. «Успею!» — спокойно подумал он.

На двенадцатом километре, возле опушки, он еще издали увидел малиновую куртку Левчука. Вот к Левчуку приблизился Коневский, и тот помчался вдоль дорожки рядом с лыжником. На бегу Левчук протянул ему металлический стаканчик, из которого при каждом шаге выплескивалось на снег какао и тотчас замерзало бурыми пятнами.

Коневский, не останавливаясь, сделал два глотка и ринулся дальше.

Бирюков сразу почувствовал на внезапно пересохших губах терпкий, дразнящий вкус какао и еще издали стал притормаживать.

«Сейчас подкрепимся», — весело подумал он.

Но Левчук не протянул ему стаканчика.

— Гони вовсю! — свирепо закричал он. — Ивлев сломал лыжу.

Он бежал рядом и кричал еще что-то, но Бирюков уже не слушал.

«Ивлев сломал лыжу… Сломал лыжу… — торопливо билось в висках. — Значит, я уже не „запасной“. Да, вхожу в зачет… Ах, шляпа! Полз, как тюлень. Всех подвел… Всех. Весь институт. А сколько еще впереди? Восемнадцать… Да, восемнадцать километров! Можно наверстать».

Вялость мигом слетела с Бирюкова. Он полной грудью жадно хлебнул холодный воздух и, энергично оттолкнувшись палками, стремительно понесся вниз с горы. Но мчаться вниз легко. Это все умеют. Выигрывать время надо на подъемах — трудных и крутых.

Спуск кончился. Бирюков, не ожидая, пока иссякнет инерция, побежал в гору.

«Потей… Потей!» — упрямо твердил он себе, ожесточенно работая палками.

И действительно, вскоре свитер прилип к взмокшей спине.

Через несколько минут он увидел впереди лыжника. Просвет между ними быстро сокращался, Надо было уже обходить «противника», но Бирюков растерялся. Нечасто случалось ему обгонять соперников. И, хотя он знал, что передний обязан уступить ему дорогу, он не потребовал лыжню, а сам сделал крюк и обошел «противника».

Матюшенко — лыжник из его же команды — изумленно проводил глазами быстро уменьшающуюся вдали фигуру.

«Неужели это Бирюков?» — спрашивал он себя.

А Бирюков бежал все стремительней. Вскоре он насел на пятки еще одному лыжнику. Теперь Бирюков не стал делать крюк, а негромко и вежливо попросил:

— Потеснитесь, пожалуйста, немножко! Удивленный таким многословием, лыжник обернулся, но потом послушно уступил лыжню.

Третьего лыжника Бирюков настиг на самой вершине горы. Предстоял крутой, рискованный спуск. Впереди идущий мог затормозить бег их обоих. На этот раз Бирюков уже не колебался.

— Лыжню! — гаркнул он на всем ходу и, не глядя на отскочившего вправо лыжника, вихрем ринулся вниз.

Первый круг — пятнадцать километров — кончился, но Бирюков почти не заметил этого. На девятнадцатом километре, под огромной мохнатой елью по-прежнему стоял знакомый курносый паренек-контролер.

— Пятым идете! — сложив руки рупором, радостно крикнул он. — Впереди Брегвадзе, Коневский, Ивлев…

Ивлев? Бирюков чуть не остановился от удивления. Но через секунду снова вошел в свой стремительный темп. Напутал, конечно, шпингалет! У Ивлева же сломана лыжа.

Он вдруг всем телом почувствовал сильную усталость. По привычке хотел уже сбавить скорость, но тотчас вспомнил, что он теперь не «внезачетник», на него надеется весь институт, и заставил отяжелевшие ноги двигаться в прежнем ритме. Он чувствовал: в нем еще много сил, но они дремлют, таятся где-то в глубине тела. Надо разбудить их, вызвать на помощь.

На двадцать седьмом километре снова еще издали он увидел малиновую куртку Левчука. Тот суетился возле лыжни. Снег около него весь, словно ржавчиной, был покрыт бурыми пятнами.

«Ишь сколько благодати пролил!» — мелькнуло в голове Бирюкова, и он снова почувствовал на губах освежающий вкус какао.

А Левчук уже отвинчивал крышку термоса и торопливо наливал в нее темный густой напиток.

Он бежал рядом с Бирюковым, и пока тот на ходу жадно пил, Левчук кричал:

— Жми, сильнее, Ванечка! Еще немного… Ивлев-то сошел!

Бирюков бросил ему пустой стаканчик, Левчук не успел подхватить его, и тот мягко шлепнулся в снег. Не поднимая стаканчика, Левчук бежал за Бирюковым и кричал:

— Жми, дорогой! Замени Ивлева! Не подведи институт!

Глоток какао придал Бирюкову новые силы. Послушные лыжи скользили легко. Еще… Еще немного… Вдали, на финише, уже слышался шум толпы болельщиков.

…Когда Бирюков, как экспресс, пыхтя и отдуваясь, влетел на стартовую площадку, над которой теперь трепетал кумачовый плакат «Финиш», — его встретили криками и аплодисментами. И первым, кого увидел Бирюков, был Ивлев. Разгоряченный, тяжело дышащий, Коля Ивлев расстегивал крепления на лыжах.

Не веря глазам, Бирюков медленно направился к нему.

— Ты? А почему лыжа не сломана? — не чувствуя нелепости своих слов, растерянно спросил Бирюков.

Ивлев засмеялся.

— А я вовсе не обязан ломать лыжи!

Бирюкова окружила плотная толпа. Десятки рук одобрительно хлопали его по спине, плечам и груди.

Растолкав болельщиков, в круг ворвался Миша Левчук.

— Поздравляю! — кричал он и, поднимаясь на цыпочки, пытался обнять Бирюкова, но огромный термос, сползший на живот, мешал Левчуку.

— Ты не сердись на меня, Ваня! — захлебываясь словами, радостно оправдывался Левчук. — Схитрил я… Насчет сломанной лыжи… Но зато теперь в тебе бьется настоящее сердце спортсмена Наконец-то ты перестал быть вечным «внезачетником».

Вдруг все затихли.

С площадки доносился усиленный рупором голос диктора…

Первым в команде Института живописи пришел Брегвадзе, вторым — Ивлев, третьим — Бирюков…

Командное первенство завоевал Институт живописи.

Эту историю, происшедшую два года назад, рассказал мне однажды вечером на лыжной станции нынешний чемпион института Иван Бирюков.

Вернее, рассказывал не Бирюков, а его друзья — Ивлев, Левчук, Брегвадзе, Коневский. Мы все сидели у печки в небольшой «летней» дачке, служившей лыжной базой. За окнами мела вьюга. Бирюков, смущаясь и запинаясь, излагал только основные факты, а его товарищи, перебивая друг друга, весело и шумно сдабривали рассказ живописными подробностями. Все дружно смеялись.

— Да не к чему и вспоминать, — улыбаясь, гудел Бирюков. — Было и быльем поросло…

А я смотрел на него, и мне даже не верилось. Неужели стремительный лыжник, опередивший в сегодняшнем кроссе всех своих товарищей, и есть тот самый медлительный, добродушный «теленок»?

## ЧТО ТАКОЕ «НЕ ВЕЗЕТ»

Если бы Глеба Чапыжного ночью вдруг, встряхнули в постели и спросили:

— Ну, быстро, — чего ты хочешь?

Даже спросонья, не разлепив склеенные веки, он выпалил бы:

— Обойти Викулайнена!

У каждого настоящего спортсмена есть своя мечта. Один — прыгун — хочет перейти за два метра, другой — боксер — стать чемпионом города. У Чапыжного тоже был свой «пунктик»: победить знаменитого Викулайнена.

Давно и пристально наблюдал Чапыжный за прославленным финном. В толстую тетрадку с клеенчатым переплетом у Чапыжного были вклеены фотографии и вырезки из газет: сплошной Викулайнен. Вот он, длинный, сухой, в полосатом свитере, на тренировке; а вот, по пояс голый, стоит на лыжах где-то в горах, щурясь от солнца. Ничего не скажешь — симпатичный парень. Только, пожалуй, подбородок слишком массивен, а рот узкий, как щель.

«Словно ножом прорезан», — как-то подумал Чапыжный.

Он уже так хорошо заочно знал своего далекого соперника, что иногда, шагая по улице, вдруг замечал его в снующей толпе. Но, приглядевшись, видел: нет, не он. У Викулайнена нос прямее и волосы ежиком.

Глеб Чапыжный жаждал встречи с финном. Нет, конечно, не случайной встречи на улице, а поединка на лыжне. Сколько раз во время тренировок, на прогулках и, неожиданно просыпаясь, по ночам представлял себе, как он и Викулайнен бегут «полусотню». Мысленно Чапыжный до мельчайших подробностей видел, как они проходят отдельные отрезки пути, как берут трудные подъемы, стремительно скользят по отлогим спускам.

Чапыжный не скрывал зависти к штангистам, прыгунам, метателям. Хорошо им: могут состязаться заочно. Штангисты, например, вступают в поединок, находясь даже на разных полушариях. Вырвал на килограмм больше, — значит, бесспорно победил.

«Нам хуже всех», — хмурился Чапыжный.

И действительно, у лыжников даже не фиксируются рекорды. Ведь результаты гонщиков зависят от множества причин: как проложена трасса, сколько в ней холмов и буераков, какая погода, какой снег. Только в личном единоборстве могут лыжники помериться силами.

«В личном единоборстве», — Чапыжный кисло усмехался.

А как быть, если этого самого «личного единоборства» не получается? Если, хоть тресни, никак не встать на одну лыжню с Викулайненом?

Прошел год, и два, и три… Встретиться со знаменитым финном не удавалось.

«Видно, не судьба», — уже решил Чапыжный.

И вот — наконец-то!..

Это случилось в Финляндии, в маленьком чистеньком городке с аккуратными, словно игрушечными, домиками. Даже названия его еще месяц назад никто, кроме окрестных финнов, не знал. А теперь болельщики всех стран повторяли: «Манти, Манти, Манти…». Крохотный городок на несколько дней вдруг стал спортивным центром всей земли, «лыжной столицей мира», как изящно выразился один французский корреспондент.

…Лыжня, петляя по холмам и низинам, двумя тонкими ниточками стремилась вперед. Уже больше двадцати километров пробежал по ней Чапыжный. А впереди еще тридцать.

Финны-болельщики, поглядывая на Чапыжного, не вынимая трубок изо рта, неторопливо перекидывались односложными насмешливыми замечаниями. И в самом деле, Чапыжный невысок и не широк в плечах. Среди лыжников — обычно рослых, здоровенных парней — он уж никак не производил впечатления богатыря.

В свое время еще тренер, мастер спорта Барышников, впервые увидев белобрысого, скуластого пятнадцатилетнего паренька со смешной нашлепкой на носу, подумал: «Щупловат». Но Глеб Чапыжный вырос на севере, в засыпанном снегом селе возле Архангельска. Там лыжи были главным и, пожалуй, единственным средством сообщения. Без лыж — ни в школу, ни на станцию, ни в клуб. И Глеб с детства привык к ним.

…Двадцать километров за спиной. И тридцать впереди.

Чапыжный шел не щадя себя. Он знал: где-то сзади бежит Викулайнен. Знаменитый призер олимпийских игр взял старт через семь минут после Чапыжного.

Первые пять километров они прошли плечом к плечу. Так образно выразился диктор, хотя соперники, конечно, даже не видели друг друга. Потом Викулайнен вышел вперед и после десяти километров имел в запасе почти минуту.

«Нет, — решил Чапыжный. — Нет, ни за что!»

Он удлинил шаг, стал работать палками еще энергичней и сперва достал, а потом и обошел знаменитого финна. После двадцати километров вел уже Чапыжный с преимуществом в две минуты. Еще через несколько километров просвет возрос до трех минут, а потом и до четырех… После тридцати километров Глеб Чапыжный бторвался уже на шесть минут.

Против «обычных» соперников это гарантировало бы выигрыш. Но Чапыжный был опытен и знал: Викулайнен так просто не сдастся. Борьба еще впереди.

Мощным, выверенным шагом бежал Чапыжный по укатанной лыжне, взобрался на поросшее молодым ельником взгорье и скользнул вниз.

Шесть минут в запасе! С таким преимуществом и бежать приятней. Но нелегко, ох как нелегко дались эти шесть минут. Пришлось выложить всего себя, а впереди как-никак еще целых двадцать километров…

В те годы — а это происходило лет десять назад — на международных лыжных встречах борьба обычно шла между чемпионами только трех стран: Финляндии, Швеции, Норвегии.

«Лыжи — наше семейное дело!» — шутили эти три северных соседа.

Так повторялось из года в год. Ни американцы, ни французы, ни немцы даже близко не подходили к золотым медалям. А Советский Союз вообще не участвовал в подобных состязаниях.

И вот сейчас русские чуть не впервые вышли на мировую арену. Из всех советских гонщиков только у одного Чапыжного были хорошие шансы. Упустить их нельзя, никак…

«Никак, никак, никак», — мысленно твердил он, преодолевая очередной подъем.

Недаром лыжники зовут такие подъемы «тягунами», — все жилы вытягивают. Подъем был длинный, крутой, и так хотелось хоть немного сбросить скорость, расслабиться, ведь в запасе шесть минут…

«Кончай скулеж», — строго внушал себе Чапыжный.

Тренер Барышников часто говорил: «Подъемы для того и созданы, чтобы на них выигрывать секунды. Именно на подъемах проверяется лыжник». И Чапыжный привык: хоть кровь из носа, а иди…

«Дело семейное, — нет, не семейное, нет, не семейное», — настойчиво повторял он.

Подъем тянулся уже больше километра. Ноги огрузнели, тяжко ныла спина.

Чапыжный сопел, ругался, но упрямо лез к вершине. Ругаться можно было вслух: болельщики разместились не вдоль всей лыжни, а кучками, с большими интервалами. Да и все равно: финны русских ругательств не поймут.

У некоторых болельщиков были с собой портативные радиоприемники. Эти знали, как складывается борьба на всей дистанции. И хотя они болели за своего Викулайнена, все же радостно встречали скуластого, белобрысого русского с забавной нашлепкой на носу и, показывая шесть пальцев, кричали:

— Карош!

В начале гонок, еще не освоив его трудную фамилию, они называли его «этот русский». Чего так пыхтит «этот русский»!? Уж не хочет ли заработать медаль «этот русский»? Но теперь они уже отлично знали его фамилию и, когда он проносился мимо, кричали:

— Ца-пишны, карош!

Все время Чапыжный мысленно был возле Викулайнена. Где он сейчас? Взбегает на холм? Или скользит по спуску?

Борьба на лыжне идет невидимо для гонщика. Что происходит на дистанции? Только иногда, по «подсказкам» болельщиков и тренера, узнает он, кто впереди и кто отстал.

Нет, бегунам на стадионе куда лучше. Видят все. И лидер как бы тянет за собой отстающего. А на лыжне — какая нужна огромная сила воли и стойкость, чтобы вот так, не видя рядом никого, бежать с полным напряжением, не сбивая темпа.

Чапыжный миновал уже тридцать второй километр, когда почувствовал — идти стало тяжело. Лыжи больше не скользили легко, как по навощенному паркету, а словно прилипали к снегу.

— Так, — сказал Чапыжный. — Так…

Еще вчера с вечера стала меняться погода, вызывая тревогу у спортсменов. Какой мазью покрыть лыжи?

Люди, не сведущие в спорте, не знают волшебной силы лыжных мазей. С тех пор как их изобрели, лыжи словно заново родились. Мазь придает им легкость, чудесное скольжение, мазь «держит» лыжу, не давая ей «пробуксовывать» при толчке. Удачно подобранная мазь — залог успеха. Недаром лыжники, объясняя причину проигрыша, часто говорят: «не попал на мазь».

Вот и Чапыжный, утром, готовясь к состязаниям, долго раздумывал: на какой мази остановиться? Как аптекарь, по запаху и цвету, тонко «чувствовал» он каждую мазь. Наконец выбрал одну баночку и стал аккуратно, пробкой и ладонью, растирать густую массу на скользящих поверхностях.

Сперва лыжи шли легко, но вот теперь, спустившись в ложбину на тридцать третьем километре, Чапыжный почувствовал: дело плохо. Теплым ветерком потянуло, что ли? Или снег отсырел?

Несколько минут Чапыжный еще упрямо пытался идти вперед. Но комья снега липли к лыжам, тормозили ход. На каждой ноге теперь словно гиря висела.

«Нет, так далеко не уйдешь…»

Он остановился, быстро скинул лыжи, тупой стороной ножа стал торопливо соскабливать с них снег и мазь. Достал баночку с другой мазью и так же поспешно стал наносить ее, стараясь, чтобы слой получился ровным.

Вот обида: так бессмысленно терять время. Чапыжный, казалось, всем своим существом чувствовал, как уходят секунды. Будто вода из наклоненной бутылки — кап, кап, кап. Еще секунда, и еще, и еще… Добыть их было так трудно, а терялись они до глупого легко.

Почти две минуты провозился он с лыжами. Но вот уже наложен новый слой мази, застегнуты крепления.

«Ну? Как теперь?»

Он сделал несколько плавных, размашистых шагов, словно прислушиваясь к лыжам. Еще несколько накатистых шагов. И сразу почувствовал: нет, не то.

Лыжи шли лучше, чем раньше, но все-таки… Та чудесная легкость, то ощущение невесомости, «летучести», которое так радовало, так окрыляло в начале бега, исчезло и не возвращалось.

Однако Чапыжный яростно шел вперед. Каждое движение давалось ему с трудом. Но что делать?

Мимо проскочил швед Янсен, за ним норвежец с очень трудной фамилией, которую Чапыжный все время забывал. Обоих их он давно обогнал. А вот теперь они снова обошли его.

Напрягая все силы, Чапыжный продолжал упрямо идти вперед. Дышал он хрипло. Тяжелые ноги плохо слушались. Но все-таки шел и шел…

В голове вдруг мелькнуло давнее воспоминание. Вот он — тринадцатилетний парнишка — на ярмарке. Аттракцион — висящий шест. Он так отполирован, будто смазан маслом. А может, и в самом деле смазан?!

Глеб пробует залезть и раз, и два, и три… Но, едва добравшись до середины, под хохот толпы беспомощно съезжает вниз. Еще раз… Руки уже дрожат, на щеках — багровые пятна. И опять неудача. Чуть не плача, впервые в жизни так остро ощущая свою полнейшую беспомощность, убежал он тогда с ярмарочной площади.

И сейчас Глеб чувствовал примерно то же — и горечь, и бессилие, и злость. А до финиша еще километров пятнадцать…

«Нет, так не дойти. Хочешь не хочешь, а надо опять… Надо…»

От злости и обиды гулко стучало в висках. Так горько снова сходить с лыжни, снова терять драгоценные минуты. А их ведь в запасе уже совсем немного. Чапыжный не знал точно, сколько. Но, вероятно, не больше двух-трех…

Он сошел с лыжни и возле высокой медноствольной сосны стал опять лихорадочно сдирать ножом мазь и снег. Работал торопливо, даже не видел, что творится вокруг. Не видел, как к нему подошла группа болельщиков. Они окружили его, сочувственно цокая языками и покачивая головами. Один из них, корреспондент финской спортивной газеты, подступил почти вплотную и что-то сказал.

— Отодвиньтесь, — хрипло пробормотал Чапыжный, ни на секунду не прекращая растирать мазь.

Финн не понял.

— Отойдите, — Чапыжный жестом показал, чего он добивается. Финн сделал шаг назад.

— Еще! — нетерпеливо крикнул Чапыжный. И финн послушно сделал еще шаг назад.

Только сейчас он понял: этот, похожий на задиристого мальчишку, советский лыжник опасается, чтобы кто-либо не подумал, будто ему оказывают помощь. Могут найтись враги. А помогать запрещено. За это снимут с состязаний.

Чапыжный ладонью быстро растирал мазь. Только сейчас он почувствовал: его белый перкалевый костюм насквозь промок от пота. Промокли и шерстяные гетры, и перчатки. Во время бега он не ощущал этого. А сейчас, на стоянке, на легком морозце костюм сразу заледенел, топорщился, как накрахмаленный. Тоненькая корочка льда при каждом движении хрустела на спине, на рукавах, на бедрах.

Но вот Чапыжный уже опять застегнул крепления и рванулся вперед.

«Ну? А теперь как?» — тревожно подумал он.

И тотчас почувствовал: все хорошо! Лыжи снова скользили легко, невесомо. Это было так радостно, так прекрасно, что усталый, издерганный Чапыжныйдаже засмеялся, беззвучно, одними губами. Снова ощутил он прилив сил и боевой азарт. Ну, теперь держись, Викулайнен!

Ему вдруг вспомнилось, как провожали его перед отъездом в Финляндию.

В «Гастроном», где Чапыжный работал продавцом, то и дело наведывались болельщики. Возле прилавка обязательно торчали, как на дежурстве, спортивного вида пареньки. А в последние дни перед отъездом за границу к его прилавку было прямо-таки не пробиться. Завмаг даже намекнул, правда, весьма деликатно, что неплохо бы ликвидировать лишнюю сутолоку.

Но, услышав это, болельщики — народ, как известно, хитрый и изворотливый — стали дружно покупать кто консервы, кто кету. Попробуй теперь придерись! И все они пожимали руку продавцу, что, кстати, тоже за прилавком не рекомендуется, и непонятно для посторонних говорили:

— Хорошего снега!

А один скосил глаза на баночку черной икры и подмигнул:

— Зернистого! Как вот это!

Сейчас, мчась по лыжне, Чапыжный вдруг вспомнил их напутствия. Славные ребята! Но снег нынче, к сожалению, совсем не как икра!

Лыжи шли легко. Вот теперь порядок! Держись, Викулайнен!

Но уже через несколько минут Чапыжный понял: показалось. Просто передохнул немного. Или снег еще не успел налипнуть? Лыжи уже снова будто царапали, скребли наст, цеплялись за него.

«Неужели опять ошибся? — горько подумал Чапыжный. — Нет, никаких „ошибся“. Иди и все! Иди, черт!»

Он яростно работал палками, стремясь хоть как-то наверстать упущенное. Подумать только: две остановки, длительные остановки, когда на учете каждая секунда! Проклятье!

«Зато немного передохнул», — пытаясь утешить себя, придумал он. Но тут же откинул эту ложь: к чему?

Идти было тяжело. В горле пересохло. Губы запеклись. Пот заливал глаза.

Впереди, возле лыжни, показалась палатка: питательный пункт. Весь столик возле палатки был чем-то уставлен. Издалека Чапыжный не видел — чем. Но знал: фруктовые соки, глюкоза с клюквой, шоколад…

Чертовски хотелось пить. Стаканчик бы лимонного сока…

«Ну, ты! — сердито прикрикнул он на себя. — Разнюнился! И так уже столько минут ухлопал зря. Никаких остановок!» — и, стараясь не глядеть на заманчивый столик, проскочил мимо.

Он уже очень устал. От промокшего костюма шел пар.

Как назло, опять начался крутой «тягун». Каждой клеточкой своего тела он ощущал, как Викулайнен отбирает у него выигранные секунды. Отбирает не за счет своей силы, не за счет умения, а лишь потому, что вдруг переменилась погода и потянул этот хлипкий, промозглый ветерок.

«А может… И финну пришлось перемазываться?» — неожиданно мелькнула радостная мысль. Но он тут же отверг ее: «Вряд ли… Викулайнен опытен и привык к этим своим погодкам. А если и перемазался, то один раз».

Казалось, сама природа против Чапыжного.

Ведь пятьдесят километров — единственная дистанция, на которой советские лыжники собирались дать бой скандинавам. Только здесь и только Чапыжный имел шансы вырвать первое место. И вот, пожалуйста!..

«Что такое „не везет“ и как с этим бороться», — вспомнил он любимую шутливую присказку своего тренера.

И с горечью так сжал челюсти, что желваки вспухли на скулах. Да, уж когда не везет, так хоть плачь…

Он шел с таким ожесточением, с таким яростным напором, как не ходил еще ни разу. И все же чувствовал: все напрасно. Лыжи не скользили. Из тонких, послушных, чутких к малейшему его желанию, настроенных как скрипка, они превратились просто в две грубые, шершавые доски.

И тогда он сказал:

«Стоп, браток!»

Но ноги — тренированные, сухие ноги гонщика — не хотели останавливаться, сами тащили его дальше. «Стоп!» — сердито приказал он себе. Это было поистине героическое решение. Чуть не скрежеща зубами от злости и обиды, он заставил себя в третий раз сойти с лыжни и снова стал тупой стороной ножа полузамерзшими, мокрыми пальцами соскребать мазь. Глаза у него запали, лицо посерело, осунулось, как после тяжелой болезни. Он словно даже отощал. Да так оно и было: за какие-нибудь два часа гонки он потерял почти три килограмма.

Пока он торопливо накладывал новый слой, мимо проскочили четыре лыжника.

«Ничего, ничего», — успокаивал он себя. Необычайно развитое, как у всех гонщиков, чувство времени, помимо его воли, где-то внутри него, как метроном, отсчитывало секунды. Тридцать… сорок… пятьдесят… Полторы минуты… Он кончил мазать и прыжком вернулся на лыжню. «Ну? Что теперь?»

Он боялся даже представить себе: что, если и сейчас он опять «не попал» на мазь?!

Но нет! Уже через несколько секунд убедился: вот теперь хорошо! Лыжи опять скользили легко. Он просто даже не ощущал их.

— Ровно! — сложив руки рупором, по-русски крикнул кто-то из болельщиков. Вероятно, это был советский корреспондент или кто-либо из наших тренеров. — Идешь наравне с Викулайненом!

Значит, шесть минут, которые были у него в запасе, шесть минут, заработанных таким неимоверным трудом, теперь потеряны. Но Чапыжный не расстроился. Даже обрадовался. Ему казалось, три остановки отняли больше времени. Ровно? Ну что ж! Значит, борьба начинается сначала. Теперь, когда лыжи так отлично скользили, Чапыжный был готов начать все сызнова. Ярость и страстное желание победить кипели в нем. Оставалось, правда, всего одиннадцать километров, а финн славился своим мощным финишем. Но Чапыжного словно окрылило.

Километр за километром покрывал он, отбрасывая одного противника за другим.

— Ца-пиш-ны! Карош! Русс карош! — кричали болельщики.

За три километра до финиша тренер Барышников крикнул:

— Выигрываешь двадцать!

Чапыжный еще нажал. Двадцать секунд — мало, очень мало. Надо, обязательно надо увеличить просвет. Перед самым финишем был последний подъем. Чапыжный, не снижая скорости, попеременным ходом взбегал на него.

«Нажми. Ну… еще…» — твердил он сам себе.

И тут опять случилось несчастье. Они словно преследовали его нынче. Палка, правая палка вдруг на подъеме выскользнула из его руки и покатилась вниз с горы. А до финиша оставалось всего километра полтора. Но без палки лыжник уже не лыжник. Ковыляй, как подбитая птица.

Кучка финнов-болельщиков — все, как на подбор, рослые, в вязаных шапочках с помпонами, — стоя около лыжни, сочувственно переговаривались. Видно было: они всей душой переживают несчастье.

— Палку! — крикнул Чапыжный.

Но фины не поняли. Или растерялись? Или не знали, что по правилам состязаний нельзя помогать лыжнику, но разрешается заменять сломанный инвентарь?!

— Палку! — опять крикнул Чапыжный.

Финны о чем-то взволнованно совещались. Но секунды-то бежали. И тогда Чапыжный сам выхватил у ближайшего финна палку. Правда, она была длинновата и не такая, как у Чапыжного. Но все-таки палка.

Мощными толчками устремился Чапыжный вперед. Он словно летел над дорожкой. Зрители, которые здесь, у финиша, стояли двумя плотными шпалерами, что-то кричали, — Чапыжный не слышал.

«Еще… Еще… Еще…» — твердил он и последним отчаянным усилием пересек линию финиша.

Его сразу обступили. Поздравляли. Кто-то накинул ему на плечи пальто. Но он был по-прежнему весь напряжен, как пружина. Викулайнен-то еще не кончил дистанцию.

— Садись! — ему подставили табурет. Чапыжный не ответил, не обернулся. Он пристально всматривался вдаль.

Кто-то заботливо всунул ему в руки стакан горячего какао. Он машинально выпил, не поблагодарил. Он даже не видел, кто дал ему стакан. Все внимание его было приковано к лыжне. Викулайнен-то еще не кончил дистанцию.

Лицо Чапыжного казалось полосатым; это струйки пота прочертили борозды. Скулы выдавались еще больше, чем обычно. Щеки ввалились. И только нос — маленький, со смешной нашлепкой — торчал, как всегда, задорно.

«Погоди. Не радуйся. Рано», — билось в мозгу у Чапыжного.

Но вот вдали показался Викулайнен. Чапыжный сердцем узнал его: разглядеть на таком расстоянии лицо гонщика или номер было невозможно.

Викулайнен быстро приближался. Вот уже судьи приготовили секундомеры. Разом щелкнули кнопки…

— Проиграл Чапыжному тридцать шесть секунд, — спокойно сказал чей-то голос.

Чапыжный глубоко, всей грудью, вздохнул, кажется, впервые после финиша. Опустился на табурет. Ноги больше не держали его. Весь он вдруг словно обмяк.

Он и сам не замечал, что после окончания бега прошло уже больше семи минут, и все эти семь минут он, изможденный, качаясь, почти падая, не садился и не отрывал глаз от холма, из-за которого должен был выскочить Викулайнен.

«Что такое „не везет“» — снова вспомнилась Чапыжному любимая шутка тренера.

Он устало усмехнулся. Пожалуй, теперь он знал, «как с этим бороться».

## СТАРИК

Пятеро шли еле заметной тропой.

Вокруг было уныло, голо. Песок. И глина, похожая на бетон, окаменевшая под солнцем, растрескавшаяся.

Было раннее утро, а солнце уже палило вовсю. Оно висело над горизонтом, как большой рыжий апельсин. Выгорел и был почти белым песок. И высокий купол неба бесцветен, словно и небо выгорело.

Пятеро шли уже давно. В семь утра покинули машину.

Вот уж не повезло! Отъехали от лагеря полсотни километров — полетел кардан. И сколько шофер ни бился — все впустую. Он чуть не шипел от обиды и злости. Надо же! Столько запчастей взял с собой. Целый склад. А кардан не потащишь же?! Да и кто мог думать!

Шофер с доцентом Рябининым пошли назад, в лагерь. Остальные пятеро — вперед, к «каменным бабам».

Это были молодые ребята — археологи. Четверым — и девушке тоже — лет по двадцать — двадцать пять. Только один постарше. На вид ему казалось под сорок, хотя лицо — черное, худое, иссеченное морщинами, с крупным носом и твердыми желваками скул, — было из тех, по которым трудно судить о возрасте. Улыбнется — скажешь тридцать, нахмурится — дашь все пятьдесят.

Молодые археологи давно знали друг друга. Двое работали в Институте археологии, двое были студентами. И только вот этот пятый, Арсений Викторович, который им, юным, казался стариком — появился в экспедиции всего недели две назад и держался как-то на отшибе. Был он молчалив (может, потому что заикался?), скуп на улыбки, и вообще неясно, какой судьбой занесло его сюда? Ведь он не археолог, не этнограф и не антрополог, зачислен в отряд простым рабочим, а между тем окончил какой-то техникум и, судя по его обрывистым репликам, зимовал на Крайнем Севере, плавал на китобое и даже в Египте побывал. Говорили, что он был тяжело ранен на войне, попал в плен, больше года находился в концлагере, бежал. Ходили слухи, что у него при бомбежке погибли жена и ребенок. С тех пор он и живет так, бобылем. Мотается по белу свету. Словно лопнуло что-то у него в душе, и никак не может он найти покоя, пристанища, найти свою «точку» на земле.

Так говорили. Но точно никто ничего не знал. Асам он не располагал к расспросам.

Пятеро шли через пески. До «каменных баб», если верить местным жителям, от места аварии было километров восемнадцать. Но что такое восемнадцать километров для молодых, здоровых ребят, тем более когда рядом девушка, невысокая, симпатичная Симочка.

Молодежь шагала бодро, а Симочка даже завела песню:

Ели вы когда-нибудь

из колбасы шашлык?

Попробуйте, попробуйте —

проглотите язык!

— Прекратите! — сухо оборвал Арсений Викторович. — Не на прогулке. Собьете дыхание…

Симочка подняла свои тоненькие бровки, но петь не перестала. Принципиально.

«„Собьете дыхание“ — ишь ты! Ну собью, так посижу, отдохну — не на марше ведь! И вообще—что этот Старик командует?! Ведь старшим назначен Кирилл».

Симочка недолюбливала Старика, Почему? Трудно объяснить. Может быть, потому, что однажды он сказал: у Симочки «тридцатипроцентные бровки» — остальные семьдесят процентов выщипаны. И недалекая, самолюбивая Симочка никак потом не могла ему простить эту едкую шутку. А может, были и другие, более веские причины.

Прошли еще километра три. По рассказам местных жителей, уже должны были добраться до колодца. А его все нет…

— Туземные километры, — усмехнулся Старик. — Кто их мерил?

Ему не ответили.

Прошли еще километра четыре. Вот и колодец! Чуть не бегом кинулись к нему. Симочка первая, сорвав с лица темные очки, наклонилась над черной дырой. Пахнуло прелой гнилью. Камни густо облепила серая масса, высохшая плесень. Часть облицовки обвалилась, ворот разрушен.

— Весело! — протянула Симочка. Кто-то из парней протяжно свистнул.

До «каменных баб» еще километров восемь. А фляги уже почти пусты. Местные жители уверяли, что на пути — древний заброшенный колодец. Там можно пополнить запас воды. И вот пожалуйста!

— Все ясно, — закурив сигарету, сказал Старик. — Без воды, как известно, ни туды и ни сюды. Надо поворачивать…

— Поворачивать?! — вскочила Симочка. — Без результатов? Иу, знаете…

Кирилл — влюбленный в Симочку сухой, длинный, как оглобля, археолог, кандидат наук, — сказал:

— Может, оно и мудро, но как-то… некрасиво. И не привыкли мы бросать начатое. Дойдем!

— Дойдем! — поддержали «Мотя-Котя». Так все в отряде звали двух неразлучных друзей, студентов Матвея и Константина.

— Ну, предположим, дойдем, — согласился Старик. — А обратно? Без воды…

— Ничего! — воскликнула Симочка. — Можно денек и без воды. Люди по трое суток не пили.

— И вообще, — добавил Кирилл, — впятером там делать нечего. Сфотографировать «каменных баб», сделать обмеры — работа всего на час для двоих. Так что у кого нервочки — вполне может вернуться…

Старик пристально посмотрел на него, даже шрам на шее у Старика побелел. Хотел сказать что-то резкое, но сдержался.

И снова пятеро зашагали песчаной тропой.

Впереди шли «Мотя-Котя». Котя был коротышка, ниже Симочки, и это очень огорчало его. Он даже старался по возможности не стоять рядом с длинным Кириллом, чтобы не подчеркивать свою низкорослость. Был он застенчив и молчалив. Его друг Мотя шутил, что, если бы справедлива была поговорка: «молчание — золото», — Котя давно уже стал бы Рокфеллером.

Сам Мотя был тоже невысок, но, в противоположность Коте, весьма речист. На все упреки он усмехался: «А я и за себя и за Котю».

Был он добродушен и любил мурлыкать одну и ту же милую песенку:

В лесу родилась елочка,

В лесу она росла…

И сейчас «Мотя-Котя» шли впереди. Мотя что-то говорил, Котя изредка молча кивал.

…Когда фляги пусты, пить особенно хочется. И хотя недавно никто даже не думал о воде, теперь, когда выяснилось, что ее нет, все вдруг остро ощутили жажду. С каждым километром она жгла сильней…

Но вслух никто о воде не вспоминал. Словно в той детской игре: «„Да“ и „нет“ не говорите, „черное“ и „белое“ не покупайте…»

Симочка старалась отвлечься, оживленно спорила с Кириллом о концертах Имы Сумак, о кинофильме «Ночи Кабирии», о том, могут ли быть здесь «каменные бабы» или это просто вымысел местных жителей. Кирилл ведь был известный «бабник». Так в шутку называли его друзья, потому что он опубликовал уже две статьи о «каменных бабах» в Сибири.

— Да, странно, — сказал Кирилл. — Обычно изваяния находятся возле рек. А тут — в песках…

Он покачал головой. Голова Кирилла походила на негатив: лицо черное, загорелое, а волосы русые, к тому же выгоревшие.

Километра через три устроили привал. Солнце жгло так яростно, так люто, — казалось, прожигало до костей. Воткнув в песок несколько колышков, Старик укрепил брезент. Тени получилось мало. Только головы умещались, ноги и тела вылезали на солнце.

Долго лежали, подняв ноги на вещевые мешки, потом поели: консервы, галеты, сыр. Кирилл достал из кармашка рюкзака две размякшие, похожие на какое-то коричневое тесто плитки шоколада и, разделив на пять частей, предложил всем.

Старик отрицательно мотнул головой.

— Не рекомендую, — сухо сказал он. — Еще больше захочется пить…

— Зато калории, — возразила Симочка и откусила вязкий уголок от тающего в руках шоколада.

Вскоре все задремали, последним — Старик. Спал он беспокойно, вздрагивал, что-то бормотал: казалось, и во сне его мучает тревога.

Снился ему стадион, их довоенный студенческий стадион. Он бежит «пятачок».[[1]](#footnote-1) Идет впереди всех. Шаг длинный, с расслаблением. Хороший шаг. Но вдруг где-то на четвертом километре сводит ногу. Что такое?! Ведь он столько раз проходил эту дистанцию! Почему же?

А! Это мешает осколок в бедре. Но ведь осколок — это позже — на фронте, а стадион — это еще до войны. Как же?

Он пытался во сне разобраться в этой неувязке, но не смог. Сопел, ворочался, встал.

Разбудил всех. Подходил к каждому и молча дергал за ногу.

Зной уже спал. Так хотелось еще полежать в холодке. Но Старик вскинул на спину рюкзак и стоял, насупив широкие, косматые брови.

Надо было идти. До «баб», судя по рассказам старожилов, еще километров пять. Успеть бы заснять их, а темнеет в этих местах рано и как-то внезапно, стремительно.

Шли цепочкой. Старик впереди.

— Торопится, — указывая на него глазами, шепнула Симочка Кириллу, — Начитался, как в пустынях умирали от жажды…

Но отставать от Старика им, молодым, было неловко, и все удлиняли шаг. Старик словно на веревке тянул их за собой.

О воде никто не говорил. Симочка все время ощущала во рту приторную сладость. То и дело облизывала она зубы и нёбо. Но язык был сухой. Сладковатый привкус шоколада не исчезал.

«А Старик-то был прав», — это еще больше злило Симочку.

Миновали отлогий, широкий холм, своей удивительно правильной формой напоминающий шатер. Местные жители, объясняя дорогу, говорили, что от этого холма до «каменных баб» километра три-четыре.

Все взбодрились, ускорили шаг. Уже близко!

Собственно говоря, «каменные бабы» вовсе не входили в первоначальные планы экспедиции. Отряд приехал для раскопок древних захоронений. Но местные жители настойчиво повторяли, что всего в семидесяти километрах от лагеря высятся два огромных грубо обтесанных камня, напоминающих человеческие фигуры. Кто из археологов удержится от соблазна? А вдруг это в самом деле неизвестные «каменные бабы»? Те, которые уже обнаружены в Монголии, в Туве, на Алтае. Те самые «каменные бабы», вырубленные много сотен лет назад, о которых сейчас столько спорят ученые?

Начало уже смеркаться. Теперь «каменные бабы», если они существуют, были уже где-то совсем рядом, — вероятно, чуть восточнее.

Но тьма все сгущалась. Развели костер, вспороли банки с консервами. Хоть и проголодались, жевали вяло: сухой кусок застревал в горле.

Потом каждый подержал над губами перевернутую флягу. При этом все считали необходимым шутить, похлопывая по донышку. Но каждый жадно ждал хоть малюсенького глотка воды. Однако — ни капли…

Старик сидел в сторонке, фляга в брезентовом чехле висела у него на боку. Он не открывал ее, не тряс над губами.

«А нет ли у него там?..» — вдруг мелькнуло у Симочки.

За весь путь она только раз видела, как Старик пил.

Может, сохранил воду и втайне бережет ее? Чтобы не делиться со всеми…

После дневного пекла особенно ощущался ночной холод. Ничего теплого у археологов не было. Подстелили брезент, легли, прижимаясь друг к другу. Симочке уступили место поближе к костру. Корявые, массивные, как железо, плети саксаула горели нехотя, даже не горели, а тлели. Старик иногда просыпался, кидал в затухающий костер таблетку сухого спирта и снова ложился.

…Едва стало светать, Старик поднял всех. Молча дергал каждого за ногу.

— Оригинальный у вас способ побудки, — сказала Симочка. — Что-то самобытно-сермяжное. За ногу — и все…

Старик усмехнулся.

— Это у нас, на китобое, был такой Еременко… Верно, он собирался сказать что-то еще про этого Еременко, но, увидев насмешливое лицо Симочки, осекся.

Было раннее утро, но ни росы, ни тумана. Сушь, как в духовке. Быстро поели и сразу взялись за поиски «каменных баб». Прошли километров пять на восток. Кирилл первым увидел лежащие на боку изваяния и криком созвал товарищей.

Молча оглядывали археологи две примитивно отесанные трехметровые гранитные глыбы. Только приглядевшись и дополняя видимое фантазией, можно узнать в таком камне человека. Вершина камня закруглена, будто это голова. Где-то посредине гранитная глыба сужается — это, видимо, древний скульптор изобразил талию. Можно угадать также нос, подбородок, грудь, руки… Вот в одной руке — кинжал. В другой — сосуд. На поясе — замысловатая пряжка, с него свисает мешочек, видимо, для трута и огнива.

Долго вглядывались археологи в плоские безжизненные лица статуй: оба лица скуластые, типичные монголоиды.

Что это? Идол? Древнее божество? Воин? Памятник на могиле? Об этом спорили и, вероятно, еще долго будут спорить ученые.

Симочка с Кириллом тщательно оглядели основания каменных фигур, пытаясь найти какие-либо надписи. Но их не было. Только в одном месте тянулась цепочка каких-то черточек, штрихов. Возможно, следы вырубленных когда-то слов. За сотни лет гранит выветрился, кусочки открошились, стерлись.

Кирилл многократно, с разных позиций, сфотографировал «баб». Симочка тщательно обмерила их, срисовала полустертую строчку. Хорошо бы, конечно, снять отпечаток с нее — эстампаж, но для этого нужна вода. Много воды…

— Быстрей, быстрей! — торопил Старик. Все увлеклись древней находкой и, казалось, вовсе забыли о воде. Только он один помнил.

— Наука ему ни к чему, — зло шепнул возбужденный Кирилл Симочке. — Только о себе печется…

Сам Кирилл с того момента, как нашли изваяния, преобразился. Теперь это был не тощий, флегматичный парень, а энтузиаст, забывший все на свете, кроме этих камней.

Какие интересные экземпляры! И как попали они сюда, в пустыню? Ведь обычно «баб» водружали возле рек. И еще — почему они не стоят, а лежат, почему нет ни привычной оградки около изваяния, ни балбалов?[[2]](#footnote-2) Может быть, этих «баб» транспортировали откуда-то и по какой-то причине бросили, не довезли?..

Вскоре отряд двинулся в обратный путь. Солнце уже жгло в упор. Едва только группа ушла от каменных идолов, все с новой силой ощутили жажду. Разговоры смолкли. Даже неугомонная Симочка присмирела.

Мысленно все видели машину, их машину, с лопнувшим карданом, одиноко стоящую на дороге. И в машине — Два плоских длинных челека.[[3]](#footnote-3) Два челека, полные воды… Но сколько отсюда до машины? Старожилы говорили — километров восемнадцать. А на поверку, пожалуй, все тридцать. Тридцать километров по раскаленной сковороде пустыни…

Обидно! В машине полно воды, а взять ее с собой в дорогу не смогли. И все из-за пустяка: не было посуды. Да, как это ни смешно, в машине не было ни бидонов, ни бутылей, ни канистр. Ведь уходить далеко от машины не собирались — кто мог знать, что лопнет кардан?

Хорошо, хоть фляги захватили. И то так, на всякий случай. «Перестраховочка», — усмехаясь, сказал Кирилл, когда в лагере брали фляги. Вот тебе и «перестраховочка»!

Прошло долгих три часа, пока добрались до холма, похожего на шатер. Значит, пройдено всего восемь километров. Медленно, очень медленно движутся они нынче.

Теперь уже все думали только об одном: пить!

Старик на ходу все время что-то держал во рту.

— Что это? — устало полюбопытствовала Симочка.

— Камешек, — Старик выплюнул на ладонь гладкий, похожий на птичье яйцо голыш.

— Зачем?

— Меньше пить хочется. Сосешь — слюна выделяется, — и Старик опять сунул камешек в рот.

Симочка пожала плечами.

Солнце палило, — казалось, из тел испаряются последние остатки влаги. Стелющиеся по песку корявые кусты саксаула и черкеза не давали тени. Юркие ящерицы — и те попрятались от зноя.

Песок был везде. Даже воздух густо пропесочен. Песок скрипел на зубах, забивал уши, ноздри…

Старик украдкой бросал быстрые, внимательные взгляды на Симочку. Пухлое личико ее посерело, нос заострился, возле уголков рта прорезались скорбные складки.

Вскоре устроили привал.

Все вокруг было голо, только янтак — верблюжья колючка — зеленел, несмотря на полыхающее пекло. У этого сорняка длиннющие корни: на десяток метров уходят они в глубь песка и сосут оттуда воду.

Все молчали. Только Симочка пробормотала:

— Ветерок бы…

Старик поднялся, развязал свой рюкзак.

— Минутку, — сказал он.

Четверо, не вставая, повернулись к нему. Из рюкзака он достал флягу.

— У меня две, — негромко сказал старик и все, как по команде, поглядели ему на бедро, где висела вторая фляга. — Взял про запас, — пояснил он.

Все зашевелились. Вот это здорово!

— Обе фляги полны, — спокойно продолжал Старик.

— Обе? — Симочка даже села. — Вы что ж — не пили?

— Уточняю; одна фляга, — Старик поднял посудину, вынутую из рюкзака, — совсем полна. Другая — почти полна…

И, видя недоуменные взгляды, пояснил:

— Я в пути почти не пью. Как верблюд, — он чуть усмехнулся.

Кирилл приподнялся на локте.

«Как же Старик поступит? Вода — его. Только его. Неужели не даст? Нет, Симочке даст. А другим?»

— Эту флягу, полную, — сказал Старик, — отдаю вам. Вам четверым, — он протянул флягу Симочке. — С условием: разделите ее на три части. Первую — выпейте сейчас, на десятом километре. Вторую — на двадцатом, третью—на двадцать пятом. Не раньше! Понятно?

Старик обвел всех жестким взглядом.

Только сейчас Кирилл заметил — в Старике есть что-то ястребиное: косматые с проседью брови, большой с горбинкой нос, тощая, жилистая шея…

— А вторую флягу оставляю себе, — скороговоркой закончил Старик. — Что? Несправедливо? — он из-под насупленных густых бровей сердито оглядел всех. — Считайте как хотите. Я так решил.

Старик отошел в сторонку, отвинтил стаканчик с фляги, налил себе немного и медленно, прополаскивая рот, словно прожевывая каждый глоток, выпил. Так смакуют редкие вина дегустаторы.

Потом лег спиной к молодежи.

Ребята подвинулись к Симочке. Все происшедшее поразило их. Это надо было досконально обдумать. Но, во-первых, пить…

Фляга была стандартная: три четверти литра.

— На три приема, — сказал Кирилл. — По двести пятьдесят. На четверых… Значит, по шестьдесят два грамма на нос…

Спутники молча кивнули.

На алюминиевом стаканчике Кирилл ногтем нацарапал черту. Это и было примерно шестьдесят граммов.

Первую порцию дали Симочке.

Кирилл незаметно нацедил ей чуть выше черточки, но девушка так грозно закричала: «Стой, вылью!» — что он сразу прекратил лить.

Симочка пила долго, смакуя каждую каплю, а ребята отвернулись, чтоб не мешать ей. Потом выпили свои граммы остальные.

Заслонив рюкзаками головы от солнца, все опять легли. Ощущение свежести во рту исчезло удивительно быстро. Уже через несколько минут язык снова стал сухим, шершавым, царапал нёбо, как наждаком.

«Странно, — думала Симочка. — Почему-то я предполагала, что у него есть вода. Почему? Не знаю. Как все-таки не по-товарищески он разделил. Ну, конечно, вода — его. И все-таки… Я бы отдала обе фляги. Всем поровну. Да, только так…»

«Молодчага, старче, — думал Кирилл. — Догадался же взять посудину про запас. А я вот не сообразил. И все-таки…»

Это «и все-таки» терзало и остальных археологов. Да, странный тип этот Старик. Всегда угрюмый, неприветливый. Даже самый человечный поступок и то обязательно испоганит…

Привал был недолгим. И опять, конечно, растормошил всех Старик.

Двигались медленно. Каждый километр казался намного длиннее предыдущего.

И тут случилось несчастье. Симочка вдруг охнула, схватилась за плечо Кирилла, гримаса искривила ее лицо.

— Нога! — она медленно опустилась на землю.

— Этого еще не хватало! — в сердцах пробормотал Кирилл, но, спохватившись, сразу устыдясь невольно вырвавшихся слов, наклонился к Симочке. Расшнуровал ей ботинок, снял шерстяной носок—все они были в таких носках, защищающих от потертостей. Но, вероятно, снимать ботинок не следовало: щиколотка стала опухать прямо на глазах. Натянуть обратно ботинок теперь было просто невозможно.

«Вывих, — подумал Кирилл. — Или растяжение?» Старик подошел, стал на колено возле девушки, и, хотя он не произнес ни слова, Кирилл тотчас отодвинулся.

— Минутку, — сказал Старик и вдруг быстро, резко дернул за ступню.

Симочка вскрикнула, побелела и, откинувшись, закусила губу.

— Идти не сможет, — объявил Старик. — Придется нести.

Но из чего сделать носилки? Вокруг не было ни деревца. Только кое-где чахлые кусты кандыма.

— Брезент, — скомандовал Старик.

Брезент расстелили, па него уложили Симочку.

— Несем по двое, — сказал Старик. — Сменяемся каждые двадцать минут.

Он дал знак Кириллу и сам взялся за передние концы брезента.

Теперь группа двигалась еще медленнее. Прошел час, два часа…

— Нет, — пробормотала Симочка. — Так не годится… Как черепахи… Оставьте меня. И немного воды… А сами — быстро… Потом вернетесь за мной. С водой…

Она с трудом шевелила окаменевшими губами.

— Как это — оставить?! — отмахнулся Кирилл. — Подлецы мы, что ли? Чепуха!

— Не такая уж чепуха! — словно раздумывая вслух, медленно произнес Старик.

«Мотя-Котя» удивленно переглянулись. Бросить больную девушку? Одну? В палящей пустыне?

— Одну, конечно, не кинем, — продолжал Старик. — Пусть двое, самых быстрых, идут и принесут оставшимся воду…

Кирил подумал: что ж, в предложении Старика есть здравое зерно, «сермяга», как любит говорить Симочка.

Двое самых быстрых, если постараются, доберутся до машины еще до темноты. Пойдут налегке. Оставят здесь все лишнее. А остальные добредут до двугорбого холма и там отсидятся в тени. И брезент у них будет на троих. В крайнем случае, и заночевать не страшно…

— Пусть идут «Мотя-Котя», — предложил Старик. Это было естественно. Кирилл вряд ли покинет Симочку. А Старик — он стар. «Мотя-Котя» самые молодые, самые сильные.

— Разделите воду, — сказал Старик.

— Пополам, — добавил Кирилл.

Он аккуратно отлил из фляги половину воды в пустую флягу, но прежде, чем отдать ее, вопросительно посмотрел на Старика. Может, тот добавит уходящим часть своей воды?

Но Старик молчал.

Тут уж не выдержала Симочка.

— Пополам — так всю пополам, — прошептала она.

— Нет, — отрубил Старик. — Мы же договорились. Эта фляга — моя.

— Бросьте торговлю! — вспыхнул Мотя. — Мы и так дойдем. А вода может еще Симочке пригодиться…

«Мотя-Котя» ушли. Симочка лежала на брезенте, тихо беседуя с Кириллом. А Старик курил и глядел вдаль. Долго, пока «Мотя-Котя» не превратились в двух маленьких букашек…

— Ну, — сказал Старик так спокойно, будто и не было безобразной сцены с разделом воды. — Пора… Надо добраться до холма…

Кирилл встал. Они опять взялись за брезент. Двигались медленно, отдыхали. Смены не было, нести Симочку — тяжело и неудобно. Концы брезента выскальзывали из быстро потеющих рук.

Кирилл устал. Рубаха давно взмокла. Но особенно злило его, что старик не просил передышки. Кирилл сам вынужден был через каждые две-три сотни шагов объявлять «перекур».

— Пить, — попросила Симочка.

Это было против условия: они еще не дошли до двадцатого километра, далеко не дошли. Но ведь теперь все изменилось. «Мотя-Котя» делают рывок…

Кирилл посмотрел на Старика. Тот молчал.

Кирилл нацедил из фляги ту же порцию — шестьдесят граммов — Симочке. Подумал, налил и себе. Хотел отмерить половину, граммов тридцать. Сохранить чуть-чуть на «черный день». Но не смог. Рука сама долила до черточки.

«Э-эх, слабец!» — обругал себя Кирилл, пряча от девушки глаза.

Старик лежал у тропы, подсунув руки под голову. Не пил.

— А вы что же? — удивилась Симочка.

— Когда полная фляга на боку, — и пить не тянет, — отозвался Старик. — Тут ведь все дело в психологии…

Симочка заметила: во рту у него по-прежнему что-то перекатывается, очевидно, камешек. Она оторвала полоску от платка, украдкой сунула ее за щеку и стала сосать. Кажется, чуть полегчало. Или и это — психология?..

И опять они долго шли по раскаленной тропе. Теперь они делали, дай бог, километра полтора в час. Но не сидеть же? Надо дотащиться до двугорбого холма…

Добрели до него, когда уже стало смеркаться.

— Пить! — взмолилась Симочка.

Глаза у нее воспалились, щеки впали, волосы рассыпались.

«Жар», — покачал головой Кирилл.

Он и сам еле стоял от усталости. Достал флягу, налил девушке ее порцию. Когда она выпила, налил себе. На этот раз он все-таки удержался: вылил не все, граммов двадцать оставил. Последние двадцать граммов…

Старик опять не пил.

— Вы и впрямь намерены тягаться с верблюдом? — грубо спросил Кирилл.

Он устал, и его раздражала эта странная выносливость Старика.

— Когда полная фляга на боку… — сказал Старик.

— Да, знаю: пить не тянет, — сердито оборвал Кирилл.

Развели костер, поели. Кирилл, разделив пополам остатки воды — набралось по одному глотку, — выпил с Симочкой.

«Вот и все, — подумала девушка. — Теперь только ждать…»

Она задремала. Вдруг ей послышался стрекот вдали. Да, явно — рокочет мотор, прерывисто, с выхлопами…

— Машина! — крикнула Симочка.

Второй машины в отряде не было, а сломанную, конечно, еще не могли отремонтировать. Но все же Кирилл прислушался, насторожился. Нет, все было тихо. Почудилось.

Симочка опять задремала, а Кирилл со Стариком молча лежали у догоравшего костра.

— Пить, — сквозь сон пробормотала девушка. Кирилл поглядел на Старика. Тот делал вид, будто и не слышал Симочку.

«Где же совесть?» покачал головой Кирилл.

Симочка долго лежала тихо, потом вдруг встрепенулась:

— Пить!

Кирилл злобно поглядел на Старика. Тот по-прежнему делал вид, что все это его не касается.

— Послушайте, вы, — сказал Кирилл.

Он встал и пальцем поманил Старика от костра. Их мужской разговор не для Симочки.

— Вы слышите: девушка просит пить, — сказал Кирилл, когда они отошли.

Старик кивнул.

— Чего же вы так трясетесь над водой? Ведь скоро придут наши.

— Неизвестно, скоро ли. А сейчас, когда у меня полная фляга, всем нам, и Симочке в том числе, легче переносить жажду. Это психология…

— Насчет психологии я уже в курсе, — наливаясь яростью, прошептал Кирилл. — Короче: дадите девушке полстакана? Да или нет?

— Нет…

— Ах, так! — Кирилл шагнул к Старику. — Тогда… Тогда… Тогда я отниму у вас флягу. Да, отниму…

Старик в упор поглядел в суженные, бешеные глаза Кирилла. Что он в них увидел, — трудно сказать. Но отстегнул флягу.

— Берите…

Фляга оказалась подозрительно легкой. Кирилл то-ропливо шагнул к костру, отвинтил крышку. Наклонил флягу. Еще… Еще. Перевернул. Ни капли…

— Так! — он ошеломленно глядел на Старика, — К чему же эта комедия?

Старик молчал. Трясущимися пальцами разминал сигарету.

— Зачем все это? — повторил Кирилл.

И вдруг его осенило. Ну конечно! «Все дело в психологии». Старик нарочно… Делал вид, что у него полная фляга. Чтобы знали: есть резерв. На самый крайний случай есть резерв.

А сам-то не пил. Все им отдал…

Ранним утром пришли «Мотя-Котя», принесли воду, Мотя развел костер, заварил густой зеленый чай. Сидел и мурлыкал:

В лесу родилась елочка,

В лесу она росла…

К вечеру из лагеря прибыла машина…

## БОЛЕЛЬЩИК

Мы сидели у телевизора. Передавали баскетбольный матч из Будапешта.

Игра была заурядной. Но зато репортаж!.. О, репортаж велся изобретательно, с живым юморком. Находчивый оператор то и дело ловил в кадр какого-то неистового болельщика. Уже немолодой, с бородкой, в очках, он вскакивал, что-то кричал, яростно махал руками, причем очки у него каждый раз сползали. И главное, в упоении он азартно хлопал сидящего впереди солидного мужчину по плечу. Тот оборачивался, что-то сердито внушал ему. Но через минуту болельщик все забывал и опять азартно шлепал соседа. Мы прямо покатывались со смеху.

Настал перерыв. Разговор у нас сразу завязался о болельщиках, об их неутомимости, преданности, смекалке, изобретательности.

— О, болельщики — удивительный народ! — сказал Михаил Аркадьевич.

Это был московский тренер, на днях приехавший к нам погостить. Все в нашей компании с уважением умолкали, как только он начинал говорить. Как-никак — столичная знаменитость.

— Был вот, например, такой случай, — Михаил Аркадьевич обвел всех глазами, словно водворяя тишину, хотя и так было тихо. — На стадионе в Киеве стали часто замечать собачонку. Маленький, лопоухий черный песик. Шастает меж скамеек и возле трибун. Ну, шастает и пусть…

Но потом зрители обратили внимание, что в беготне этой животины есть какой-то определенный маршрут. Гоняется она от трибун к входу и обратно. И снова от трибун к выходу. Как по расписанию. Что такое?

Однажды подметили — в пасти у песика что-то зажато. Вроде — медная гильза, патрон. Тут уж заинтересовались. И выяснилось: жили-были четверо друзей-студентов. Все четверо — ярые болельщики. А денег на билеты — пшик. И вот додумались. Один по знакомству получил контрамарку на стадион на весь сезон. Пройдет, потом сунет эту контрамарку собачке в зубы, в гильзу. А она уже натаскана. Мимо контроля выскочит со стадиона. Там ее ждет второй студент. Вынет из гильзы эту самую контрамарку — и тоже проходит. А песик таким же манером относит контрамарку третьему, четвертому…

Все дружно смеются, восторженно качают головами.

— Вот это да!

— Порядок!

И хотя многие давно уже читали историю о «четвероногой контрамарке» в спортивном журнале и, кстати, знают, что было это не в Киеве, а в Англии, но они не вносят поправок и делают вид, что заинтересованы забавным рассказом.

Михаил Аркадьевич смеется вместе со всеми. У другого это получилось бы неловко: сам доволен своими остротами. Но Михаил Аркадьевич такой солидный и вместе с тем такой простой, «свойский», — ему прощают.

— Да, — улыбаясь, говорит Василий Гаврилович, — есть ужасные болельщики. Прямо-таки запойные. Мне вот в Манчестере рассказывали…

Василий Гаврилович часто бывает за рубежом и всегда — к месту, не к месту — всовывает какой-либо эпизодик из своих заграничных впечатлений.

— Живет в Манчестере такой вот сумасшедший болельщик. Помешался на футболе. Две фабрики у него, богач, а в общем-то лишь футболом интересуется. И, понимаете, завел самолет, пилота и летает на все хоть сколько-нибудь выдающиеся матчи. Прилетит, посмотрит игру, наорется всласть — и обратно…

Все качают головами.

Кто-то еще рассказывает историю о болельщиках, и еще…

Я сижу в углу задумавшись. Да, я тоже встречал многих болельщиков из тех, кого жены в первые годы замужества, отчаявшись, зовут «ушибленными», «запойными», «пропащими», но потом смиряются, рассудив, что футбол «все же лучше вина и карт».

И все-таки истинного болельщика я знал только одного. Настоящего, бескорыстного, преданного до конца…

Если мальчишка живет неподалеку от боксерского зала, он непременно загорится боксом.

Ну, а если мальчишка живет чуть ли не в самом зале? Почти на ринге?

Колька Прядильников из седьмого «а» вот так и жил: почти на ринге.

Его мать работала уборщицей в спортклубе. И ей там дали маленькую комнатуху. Прямо скажем, не ахти какую. Низкий потолок. Одна стена некапитальная, и сквозь нее все время — грохот и буханье, словно вколачивают сваи. Это тренируются прыгуны: за стеною — гимнастический зал.

Мамашу Кольки Прядильникова прямо-таки изводил этот шум. Она даже к депутату ходила, чтоб ей дали другую комнату. Ну, а Колька и все его друзья-товарищи считали, что лучшего жилья и не придумаешь. Хоть целыми днями сиди на всяких состязаниях и даже на таких тренировках, куда никого не пускают. Любого знаменитого чемпиона разглядывай сколько пожелаешь. Даже заговорить с ним можно, если очень уж захотеть.

Ну, понятно, Колькины друзья не терялись. Как только какое-нибудь состязание — по боксу, или баскету, или настольному теннису — ребята еще в середине дня придут к Кольке, а потом, вечером, прямым ходом в зал. Без билетов, конечно.

И еще удобно: в баню ходить не надо. В клубе душевые кабины. Мойся хоть с утра до ночи.

В общем, это была великолепная жизнь. Прямо-таки сказочная жизнь. Турниры, состязания, шум, народ, споры — весело и интересно.

Мальчишки целыми днями терлись в клубе. И вскоре стали неплохо разбираться в спорте. Особенно в боксе. Они уже знали лучших боксеров в лицо, знали их особенности, «почерк» каждого, знали, кто силен в защите, а у кого тяжеловаты ноги.

И, конечно, у каждого из четверых парнишек появились свои любимцы.

Перед состязанием ребята всегда загадывали: кто победит? Условия пари были предельно просты: если твой боксер проиграл, все имели право «доить» тебя. Зажмут твой нос двумя пальцами, как клещами, и тянут книзу. Мальчишки — беспощадный народ. После такой «дойки» нос неудачника напоминал небольшую, но вполне созревшую свеклу.

Чаще всех проигрывал Колька Прядильников. Остальные трое вскоре приспособились к этой жестокой игре: они называли будущими победителями самых известных мастеров, чемпионов и редко ошибались.

А Колька во всех соревнованиях упорно «ставил» на одного и того же средневеса: Вадима Шаргородского. Тот проигрывал, но в следующий раз Колька опять упрямо «мазал» за него…

Это становилось уже просто глупым. Глупым и несмешным. Во время очередной «дойки», как Колька ни крепился, слезы невольно выступали из его глаз, но начинался новый матч, и Колька опять болел за Вадима Шаргородского.

А этому Шаргородскому чертовски не везло. Проигрывал даже более слабым.

Колька Прядильников на тренировках подолгу наблюдал за ним.

Высокий, крепкий и, в отличие от многих боксеров, какой-то изящный, что ли. Чуть грустное, задумчивое лицо. И так приятно улыбается — мягко и немного застенчиво, как Кадочников. Да, совсем как Кадочников! И даже голос у него тоже глубокий и какой-то теплый, как у Кадочникова.

Часто, зашнуровывая боксерки или крепко растираясь полотенцем после душа, он задумчиво, нараспев повторял одну и ту же крылатую фразу:

— Все пройдет, как с белых яблонь дым…

Колька не знал, что это. Похоже на стихи. Или на песню. И не очень-то понимал Колька глубинный смысл этой фразы. Но удивительная красота и хватающая за сердце печаль ее словно завораживали парнишку.

Вадим любил стихи. Кольку удивляло это: боксер — и вдруг стихи?!

Когда Вадим мылся в душе, из кабины часто неслись то ласковые, нежные, то гневные, громовые строки. Стихи были какие-то непонятные, и все-таки слушать их нравилось Кольке.

Если бог нас своим могуществом

После смерти отправит в рай,

Что мне делать с земным имуществом,

Если скажет он: выбирай? —

доносилось из облицованной кафелем кабины сквозь барабанный перестук упругих струй.

Так и не выяснив, что он взял бы с собой в рай, Вадим вдруг начинал тихо, ласково:

Дай, Джим, на счастье лапу мне,

Такую лапу не видал я сроду.

Давай с тобой полаем при луне

На тихую, бесшумную погоду.

А потом из кабины звучало скорбно и строго:

Его зарыли в шар земной,

А был он лишь солдат,

Всего, друзья, солдат простой,

Без званий и наград…

Вадим никогда не кончал стихов. Прочтет две-три строфы и начинает другое. Но Колька охотно поглощал этот поэтический винегрет. Так даже интересней…

Вообще странный он был, этот Вадим. И профессия у него была странная: специалист по теории информации. Колька сперва подумал: это что-то газетное. В газетах ведь информации. Но оказалось, совсем наоборот. Вадим — математик. А теория информации — один из новых разделов математики. «Без информации нет жизни, — говорил Вадим. — Информация — основа всего».

Вот и разбери: бокс, и математика, и стихи…

Влюбленными глазами следил Колька на тренировках за Шаргородским. Как неутомим! Как резко и точно проводит серии ударов по груше! Тугая кожаная груша дробно стучит о деревянную площадку, и эта пулеметная очередь отдается радостью в Колькином сердце.

Особенно любил Колька наблюдать за спаррингами Вадима. Тут Шаргородский разворачивался вовсю. Какие атаки! Какие нырки, уходы! Ни один спарринг-партнер не мог устоять под градом его ударов. А ведь какие были партнеры!

Почему же в зачетных боях Вадим скисал? Почему там его словно подменяют?

Был Колька упрям. Если уж что вобьет себе в голову, — клином не вышибешь.

Однажды, например, прочел он, что в Индии йоги творят чудеса. Многолетними тренировками йог развивает такую силу воли, что захочет — может пять суток ничего не есть, захочет — воткнет себе в руку кинжал и боли не чувствует. Кровь — фонтаном, а йог прикажет: «Не желаю, чтобы лилась кровь!» — и фонтан тотчас остановится.

На следующее утро вооружился Колька булавкой, закатал рукав, сидит за партой и колет себя. Сперва чуть-чуть втыкал, а к концу шестого урока натренировался: чуть не на целый сантиметр стал вгонять в руку булавку. Девчонки с соседних парт смотрят на эту процедуру, рты зажимают, чтобы не завизжать от страха. Но кровь идет. Сколько ни шепчет Колька: «Остановись! Приказываю — остановись!» — идет себе и идет.

Целую неделю так тренировался. Обе руки покрылись багровыми и фиолетовыми точечками, будто блохи искусали. Булавки ему показалось мало. Вскоре бритвенное лезвие принес…

Рука болит, порезы нарывают, гноятся, но Колька не сдается. Два месяца так тренировался. И неизвестно, чем бы это кончилось. Но узнала мамаша, отругала и к доктору стащила. А тот сказал: еще бы немного, и — гангрена. Пришлось бы оттяпать руку.

Упрям был Колька. Всей душой поверил в Вадима и не сомневался: будет Вадим побеждать, будет!.

1 Тренировочный бой.

Когда Шаргородский уходил из клуба, Колька старался подкараулить его на панели. Они шли рядом, чаще всего молча, и Колька был почти счастлив. А когда Шаргородский давал ему свой чемоданчик, обычный потертый фибровый чемоданчик, в котором лежали перчатки, туфли и все нужное для боя, Колька гордо нес этот видавший виды чемоданчик, и тогда счастье было уже где-то совсем-совсем рядом.

Они шли по широкой, шумной улице; прохожие, особенно женщины, оглядывались на Шаргородского — он был высок и красив, — а Вадим шагал молча, думая о чем-то своем.

Иногда он спрашивал Кольку о его школьных делах; Колька кратко докладывал (учился он не блестяще и не любил распространяться об отметках). Шаргородский слушал, потом говорил:

— Ничего! Не унывай, друг мой Колька! Все пройдет, как с белых яблонь дым…

Наверно, это было не очень-то педагогично. Обычно взрослые советовали Кольке приналечь на учебу, напоминали, что ученье — свет, неученье — тьма. Шаргородский никогда не говорил этого. Забирал у Кольки чемоданчик, садился в автобус и уезжал.

Полюбился Шаргородский Кольке. Очень. И не только потому, что боксер хороший, и читает стихи, и занимается какой-то информацией. Нет, Колька никому, даже матери, даже закадычному другу Женьке, не признался бы… Напоминал чем-то Шаргородский Кольке отца. Звали отца тоже Вадим. Может, отсюда все и началось? Кольку как в сердце толкнуло, когда он впервые услышал, как тренер сказал: «Ну, Вадим, пора на весы». Он даже в точности запомнил эту фразу: «Ну, Вадим, пора на весы». «Ну, Вадим, пора…»

А потом он подметил, что и глаза у Шаргородского похожи на отцовы, и между двумя передними зубами щелочка, точь-в-точь, как у отца. Или кажется?

И с тех пор прилип Колька к Шаргородскому намертво.

Сам Колька был невысок ростом и тщедушен. Иногда в раздевалке Шаргородский давал ему ненадолго свои тренировочные перчатки. Колька с помощью ребят торопливо зашнуровывал их. Друзья украдкой усмехались. Тонкие, как палочки, бледные Колькины руки теперь в огромных, похожих на пудовые гири, черных перчатках казались еще более бледными, еще более хилыми.

Может быть, именно потому Колька так самозабвенно любил наблюдать бокс? И даже не только бой, но все, что имело хоть какое-то отношение к рингу? Ведь сам-то Колька не мог и мечтать хоть когда-нибудь выйти в боевой форме на залитый светом четкий брезентовый четырехугольник ринга навстречу противнику. Выйти в торжественной тишине в присутствии сотен зрителей на смелый честный поединок, где только твое мужество и умение приносят победу.

…Шли месяцы. Колька по-прежнему неизменно «болел» за Шаргородского и по-прежнему ходил с красным распухшим носом.

Парнишка старался понять, почему проигрывает его любимец. Сил мало? Нет, мускулы у Шаргородского — как булыжники. Техника? Насчет техники Вадим даст фору многим. Опыт? Сто двенадцать боев провел Вадим. Так в чем же, в чем же причина неудач?

Колька знает: в прошлом, бывало, Вадим блестяще выигрывал. И у кого? У сильнейших средневесов страны! Значит, может?! Еще и как может!

А потом, говорят, словно что-то случилось с Вадимом. Будто сломалась в нем какая-то пружина. Поражение за поражением.

На тренировках Колька пристально, как дотошный, придирчивый тренер, следил за Шаргородским.

Вадим дрался легко и изящно. Может быть, слишком изящно? Бокс — это все-таки не танцы. А Вадим, казалось, больше всего любит на ринге танцевать, плести вокруг противника какую-то хитроумную сеть финтов, мнимых атак и ловких защит.

А может, напора маловато? Боевого натиска? …Началось первенство города. Волновались боксеры. Волновались и Колька с товарищами.

В тот день, когда в третьей паре должен был выступать Вадим Шаргородский, Колька прямо места себе не находил. В школе англичанка, слушая его бредовый ответ и глядя в невидящие Колькины глаза, даже всерьез встревожилась: не болен ли он?

Нет, Колька был здоров. Просто его похуже малярии трепала жестокая «предстартовая лихорадка», так хорошо знакомая всем спортсменам.

До вечера Колька слонялся без дела. То пытался чертить карту, то брался за книгу, то хотел доклеить макет — все валилось из рук.

…Боксерский зал был полон. Колька с приятелями устроился очень удобно: забрались в огромную нишу, высоко, возле баскетбольного щита. Отсюда весь ринг — как на ладони.

Первые два боя Колька почти не помнил. Они прошли, как в пелене. Звенел гонг, мелькали перчатки, зал то замирал, то ревел в восторге.

И вот — третья нара: Шаргородский — Кучум. Могучий, коренастый, почти квадратный Кучум сразу двинулся в атаку. Он шел, как таран, — напролом. И словно звал: «Бей, бей, я все равно не чувствую твоих ударов. Они для меня — что блошиные укусы». А кулаки самого Кучума были тяжелей свинчатки.

Шаргородский, как на пружинах, летал вокруг Кучума. Тот был массивен, неповоротлив. Этим-то и пользовался Вадим. Выбрав удобный момент, он наносил два-три стремительных удара и так же мгновенно уходил из зоны действия кулаков Кучума.

Так он набирал очки. Это было правильно. И все-таки… Все-таки Колька не радовался. Чего-то не хватало Шаргородскому. Чего? Колька не знал…

Как-то слишком он мягок, излишне добродушен… Кучум не гнался за очками. Нет, он делал ставку на свой коронный крюк правой. Подловить противника и одним мощным ударом кончить бой. Маленькие, узкие глаза Кучума из-под круто нависшего лба зорко следили за Шаргородским…

Первый раунд кончился. Его выиграл Шаргородский, но это не успокоило Кольку.

Пока боксеры сидели в своих углах, и секундант ловко и быстро обтирал лицо и грудь Вадима мокрой губкой, Кольке, стоящему в своей нише, хотелось крикнуть Вадиму: «Ну же, разозлись! Разозлись же!»

Второй раунд был похож на первый. Вадим по-прежнему танцевал вокруг Кучума, изредка нанося легкие, быстрые удары. Вадим словно щеголял своей неуязвимостью, он играл с Кучумом, демонстрируя зрителям весь арсенал своей богатой техники.

Это была опасная игра. У Вадима тяжелели ноги от непрерывных перемещений по рингу. И руки его тоже были все время в движении и тоже уставали.

А Кучум, как и раньше, неторопливо двигался по рингу и выжидал. Кольке казалось: кулаки Кучума — как на боевом взводе. Вот-вот щелкнет курок…

И Вадим доигрался. Одно неверное движение — и вдруг…

Колька чуть не выпал из ниши.

Вадим лежал на полу. Рефери, стоя над ним, четко отсчитывал секунды:

— Три… четыре… пять…

«Ну же! Ну! Поднимись!» — упрашивал, умолял Колька.

На счете «семь» Вадим приподнялся, на счете «девять» оторвал колено от брезента.

Кучум тотчас бросился к нему. Вероятно, бой был бы тут же окончен, но… Проплыл медный звук гонга…

Колька даже вскрикнул от радости.

На минуту, на целую минуту Вадим был спасен!

Вот секундант уже усадил его на табурет, дал понюхать какой-то флакончик. Вот полотенцем, как насосом, мощно подает воздух его легким.

— Быстрей, быстрей! — шептал Колька.

Быстрей приходи в себя, Вадим, милый! Быстрей набирай силы!

Колька знал, что такое настоящий нокдаун. Вадим однажды рассказал, как его в прошлом году послал на пол армеец Дементьев. В голове потом долго вертелась какая-то дьявольская огненная карусель. Вадим тогда не слышал ни звука. Видел открытые рты публики, видел, как шевелятся губы секунданта, но — ни звука…

Вот и сейчас, наверно…

Когда кончился перерыв и Вадим шагнул навстречу Кучуму, зрители зашевелились, загудели. Видно было, что он еще в тумане, еще нетвердо стоит.

— Вадим! Ну, Вадимчик! — лихорадочно шептал Колька.

И Шаргородский словно внял его мольбе. Он подтянулся и в ответ на удар Кучума провел короткую серию. Зрители облегченно вздохнули: кажется, боец пришел в норму. Но это был обман. Вадим ответил на удар чисто автоматически. А в голове его — Колька всей душой чувствовал это — по-прежнему мельтешили огни и крутилась чертова карусель.

…Вскоре Кучум провел сильный удар… И еще удар…

Судья прекратил бой…

Мальчишки и есть мальчишки. Во время боя они сочувствовали Кольке. Но вот Шаргородский потерпел поражение, и сразу несколько нетерпеливых рук потянулось к Колькиному носу.

Как всегда, особенно отличился Гошка Смальцев. Сильными костлявыми пальцами-клешнями вцеплялся и тянул с вывертом, — казалось, вот-вот оторвет нос.

…Дралась уже новая пара, когда Колька с распухшим носом вылез из ниши и пробрался в раздевалку.

Вадим сидел на скамейке, широко раскинув руки на спинке. На плечи его был наброшен халат. Перчатки он уже снял, но бинты на пальцах еще остались.

Колька подошел осторожно, как в больнице к тяжелобольному. Вадим, наверно, очень переживает. И досталось ему крепко. Такой нокдаун… И такой страшный третий раунд…

Но Вадим уже был прежним. Ослепительным и милым. Как Кадочников. Только лицо бледнее обычного. И на груди — багровые пятна. Он даже улыбнулся Кольке.

Именно эта улыбка, как током, ударила Кольку. Он-то ожидал, что Вадим угрюм и зол после такого ужасного поражения, он-то мчался к нему, утешить, успокоить, облегчить… И вот, здрасте, Вадим вовсе не так уж переживает.

— А что у тебя — опять насморк? — спросил Вадим. — Нос как помидор…

В прошлом не раз уже он замечал, что у Кольки часто опухает нос. Мальчишка всегда небрежно отмахивался: так, ерунда, насморк.

Но сейчас Колька насупился.

— Нет, не насморк…

Помолчал и угрюмо добавил:

— Это из-за вас…

— Из-за меня? — удивился Шаргородский. — Насморк из-за меня?..

— Не насморк, — повторил Колька. — Доили меня… — он скупо пояснил, в чем дело.

Шаргородский отвернулся и долго молчал. Аккуратно виток к витку, сматывал бинты с рук и молчал.

— Почему же ты всегда ставил на меня? Видел же — проигрываю. Зачем ставил?

Колька молчал.

— Возьми, — Вадим протянул ему какую-то баночку. — Потри. Полегчает…

Колька послушно подцепил мизинцем комок светлой, похожей на вазелин, мази, потер нос.

— Да, — задумчиво сказал Шаргородский. — Значит, ты верил? Несмотря на мои проигрыши? — он усмехнулся. — И сегодня верил?

Колька кивнул.

— А я вот, честно говоря, не верил. Нет, не верил. Да и прошлый раз… Смешно, — он покачал головой. — Ты веришь в меня больше, чем я сам. Смешно, верно?

Колька пожал плечами. По-честному, ничего тут нет смешного.

— Почему я не побил Кучума? — спросил Вадим. Спросил так, будто размышлял вслух. — Ведь я техничнее. И быстрее…

Он взял полотенце и прошел в душевую. Колька остался в раздевалке.

Входили и уходили боксеры, тренеры, судьи. Из зала доносились крики, аплодисменты, звуки гонга. Колька все сидел.

Вадим принял душ, переоделся.

— Такие-то дела, — сказал он. — Значит, мало уверенности?

Он говорил раздумчиво, словно хотел поставить диагноз, и диагноз этот для успеха лечения должен быть точным.

На улицу они вышли вместе. Колька нес чемоданчик Вадима. Был тихий осенний вечер. Мягко проплывали мимо машины, подмигивая белыми и красными фонариками. Откуда-то неслась далекая музыка.

— Да, — негромко сказал Вадим. — И с диссертацией вот тоже… Заклинило — и тупик…

Он говорил, словно размышляя вслух, словно вовсе забыл, что рядом Колька.

— А может, не тупик? Может, следовало дальше?.. Зря бросил?

Он опять задумался.

— А если и это — от неуверенности?..

Колька молчал. Они шли долго, прошли мимо остановки, где Вадим обычно садился в автобус, свернули на бульвар и все шли, шли…

Вадим вдруг положил руку Кольке на плечо. Заглянул в глаза.

— Ну, а следующий раз? — спросил Вадим. — Поставишь опять за меня?

И непонятно было: шутит он или всерьез? Колька, не колеблясь, кивнул.

— Поставь, — сказал Вадим. И теперь уже ясно было, что просит он очень серьезно. — А я постараюсь… Чтоб без насморка… Веришь?

Колька кивнул.

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](http://royallib.ru)

[Оставить отзыв о книге](http://royallib.ru/comment/raevskiy_boris/v_nashu_polzu__rasskazi.html)

[Все книги автора](http://royallib.ru/author/raevskiy_boris.html)

1. *Пятачок* — дистанция в пять километров. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Балбалы* — камни возле статуй. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Челек*  — специальная бочка для воды, удобная для перевозки на верблюдах, [↑](#footnote-ref-3)